

Куржов

Андрей

ГЕОГРАФИЯ ОДИНОЧНОГО ВЫСТРЕЛА

СУДЬБА ПОПУГАЯ



FOLIO

География одиночного выстрела

Андрей Курков

Судьба попугая

«ОМІКО»

2000

Курков А. Ю.

Судьба попугая / А. Ю. Курков — «ОМІКО»,
2000 — (География одиночного выстрела)

"Судьба попугая" – вторая книга фантастической трилогии А. Куркова "География одиночного выстрела". На страницах романа живут, героически сражаются и преодолевают тяготы военного времени знакомые уже читателю персонажи – народный контролер Добрынин, ангел, урку-емец Ваплахов и попугай-декламатор Кузьма. Все так же летает по фантастической Советской стране пуля и никак не может найти героя или праведника, смерть которого прекратит все войны на земле.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	7
Глава 3	29
Глава 4	49
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Андрей Курков

Судьба попугая

Глава 1

Люди привыкли ценить и уважать себе подобных. Не в смысле – людей, а именно таких же людей, таких же умных, таких же сытых и образованных. Дальше, за пределами этой схожести оканчивается обычно и ценность человека в глазах другого, и уважение к нему. И так, под колючим солнцем или мягким снегом, продолжает герой ценить героя, и с доброй завистью читает он в утренней газете, как простой слесарь по дороге на завод вытаскивает из пожара трех детей и успеваает даже вынести из горящего дома тумбочку и немного посуды, чтобы было из чего погорельцам кушать и куда эту посуду складывать. Читает герой и про солдата, вытащившего из проруби девочку, а потом еще разок нырнувшего и доставшего со дна водоема девочкины коньки, из-за страсти к которым она и провалилась под лед. И вот этот обмен героической газетной информацией, он и кровь героям будоражит, и ряды их пополняет огромным количеством людей, уже давно готовых совершить геройство. Теперь, пропитавшись этим духом, они и по улицам ходить будут, оглядываясь, осматриваясь в поисках знака беды, зова на помощь.

Эти люди, конечно, самый ценный человеческий материал страны. Пускай они иногда не образованы и даже порой доверчивы, как домашние животные. Но именно они наполняют народ духом и этот же дух держат высоко, на весу, как знамя или герб, за которым готовы отправиться победным маршем миллионы.

Но люди – это еще не вся страна, не весь народ. Народ, он состоит не только из разумного человеческого материала, подзабывшего инстинкты и повадки. Народ в своем трудовом смысле состоит и из помощников людей – из коров и лошадей, овец и собак, охраняющих не только домашний скот, но и порядок и законность на темных улочках спящего села. Собаки порой лучше любого милиционера или воспитателя колонии уберегут неуверенного начинающего преступника от роковой ошибки. Их лай – как строгое и последнее предупреждение.

Незаметные в городе труженики полей – кони – на себе подняли все наше сельское хозяйство. Да, есть трактора, тысячи железных машин с тяжелыми круглыми колесами. Бороздят они поля и на севере, и на юге страны. Но коней больше, и конь человеку ближе, чем машина. Конь как бы с трудовой душой. И судьбы у коней бывают и яркие, и трагические, и героические, особенно во время войны. А какая судьба у трактора? Сделали – работал. Ломался – чинили. Железка – она и есть железка. Сколько бы тракторист ни гладил бок своей машины, она ему в ответ не фыркнет дружелюбно. А конь или та же собака, они с человеком в давней связи состоят и без человека, как без регулярной еды, жить не могут. Животные и люди – одинаковые созидатели новой жизни, а порой и одинаковые герои! И каждый из них за свой поступок равной теплой благодарности заслуживает. Они вместе по нашей жизни идут и делят между собой трудности и победы. И не только, конечно, абсолютно домашние животные, такие, как коровы, кони и собаки. Есть животные не менее героические, но более редких видов. И здесь уже само примыкание такого животного к нашей жизни – само по себе подвиг и геройство. Ведь речь идет не о цирке, а о сложной, порой жестокой действительности, ради улучшения которой и трудятся рядом с человеком различные представители животного мира.

Наступит время – и о них, об этих представителях животного мира, будет написана отдельная книга, как о пионерах-героях. И каждый подвиг, каждое геройство такого животного записано в ней будет отдельной главой. И будет наверняка в этой книге одна большая глава, посвященная попугаю Кузьме, у которого из отдельных прошлых и будущих подвигов

сложится яркая героическая биография. Есть у нас в богатом русском языке одно слово, которое сразу поднимает такую биографию на невидимый пьедестал, так, что сразу все смотрят вверх. И это слово – СУДЬБА. Есть в нем и огонь, вырывающийся из доменной печи, и движение скоростного товарного поезда по далекой сибирской магистрали, и марш рабочих, легко несущих на своих плечах тяжелые отбойные молотки. Есть в этом слове и смелость полета. И слово это уравнивает между собой всех достойных – и людей, и животных.

Глава 2

С утра дул сильный ветер, и Добрынин по дороге на аэродром сомневался, что ему удастся в этот день вылететь из Москвы.

– Что же это вам отпуск не дали? – удивлялся сидевший рядом Виктор Степанович. – Нехорошо это... при такой ответственной работе...

Добрынин пожал плечами. Уставшим он себя не чувствовал. Спать действительно хотелось: служебная жена, Мария Игнатьевна, не дала ему заснуть, всю ночь обнимала его, целовала...

Выехали за город. По одну сторону дороги тянулся серый забор, за ним высились корпуса какого-то завода.

Подъехали к одноэтажному полосатому домику с ветроопределителем и антеннами на крыше.

На аэродроме было тихо.

Добрынин сразу узнал «свой» бомбардировщик.

Знакомый летчик поднялся из-за стола, радостно улыбаясь.

– Доброе утро! – сказал он, протягивая руку. – Что, назад полетим?

Добрынин кивнул.

При виде этого жизнерадостного военного пилота настроение сразу поднялось, спать расхотелось, захотелось бодрствовать в полную силу.

– Чайку? – предложил пилот.

– Ага! – ответил Добрынин, присаживаясь за стол.

– Ну я, Пал Алексаныч, поеду тогда... – стоя в дверях, заговорил Виктор Степанович. – Дел много. До встречи, в общем!

Добрынин заглянул в свою котомку, и какая-то мысль шевельнулась в его памяти, словно звоночек зазвенел, напоминая о чем-то забытом.

Народный контролер задумался.

Эх, был бы он сейчас там, внизу, в Кремле, где стоит странный стул и механика, помогающая вспомнить даже то, что не было известно!

От досады ударил себя по лбу ладонью, и тут же этот звоночек прозвенел громче, и вспомнил народный контролер, что обещал он привезти командиру Иващукину что-нибудь к чаю.

Вспомнил и огорчился, так как ничего не купил и даже ни разу в магазин не зашел.

За окном домика остановилась черная легковая машина.

«Виктор Степанович вернулся?» – бросив внимательный взгляд, подумал Добрынин.

Дверь открылась.

– Ну, успел, слава Богу! – раздался знакомый голос.

Добрынин поднял голову и увидел широко улыбающегося Волчанова.

Старший лейтенант подошел к столу. Присел на свободный стул, как раз между народным контролером и пилотом. Сам налил себе чаю из чайника, положив свой портфель на колени.

– Как здоровье? – поинтересовался Добрынин.

– Да уже лучше, – кивнул Волчанов. – Прошлую ночь даже спал спокойно. Да, хорошо, что вспомнил! – сказал он и полез в свой портфель. – Это для тебя, в дорогу...

И на столе перед Добрыниным появились три пачки печенья «Октябрь» и бумажный сверток.

– Это бутерброды, – объяснил, показывая на сверток взглядом, старший лейтенант. – Лететь-то, наверно, долго будешь... А и вот еще, от товарища Тверина тебе!

Народный контролер взял из рук Волчанова книгу «Детям о Ленине». Второй том. Раскрыл. На форзаце увидел надпись: «Дорогому товарищу Добрынину от товарища Тверина».

На душе стало тепло и тихо.

– Я тоже здесь книг накупил! – вступил вдруг в разговор летчик и показал жестом в угол комнатки, где лежали три большие, перетянутые бечевкой, пачки книг.

Волчанов заинтересовался.

– А что это за книги? – спросил он летчика.

– Стихи в основном... – ответил тот. – Наш командир стихи очень любит, да и я тоже. В общем, вся часть стихи читать любит. Мы иногда вечера стихов устраиваем и читаем их вслух...

– Хорошее дело! – одобрил Волчанов. – Я тоже библиотеку собираю дома. У меня одна книга есть, автор сам подарил. Стихи. Бемьян Дебный. У нас в Кремле живет. Коммунист хороший, но человек очень плохой.

– Дебный?! – переспросил летчик. – Читал! Он про взятие Перекопа много писал.

Добрынин постарался запомнить фамилию поэта, чтобы при случае ознакомиться с его стихами.

Допили чай. Волчанов проводил летчика и народного контролера до самолета, помахал им рукой и, когда уже заревели моторы, вернулся к машине, ожидавшей его у полосатого домика.

Грязно-зеленый бомбардировщик начал разгон и через минуту уже поднимался над землей.

Добрынин смотрел в иллюминатор. Осталась позади и внизу эта полосатая будка аэродрома, где он десять минут назад пил чай. Осталась позади и внизу Москва. Стало грустно. Будто бы снова он уезжал из дому, не зная, вернется ли туда снова когда-нибудь. Будто остались позади родные, близкие... Жалость к самому себе пробудилась вдруг в народном контролере, и почувствовал он, как наворачиваются на глаза слезы.

Объединились в его сознании деревня Крошкино и Москва в одно большое нечто, с чем связаны лучшие его воспоминания и мысли, и вот уже слышится ему из прошлого лай любимого пса Дмитрия, теперь уже покойного, взлетающий над ночной Москвой. И словно бы сама деревня Крошкино находится в центре Москвы, потому как выйдя из Кремля и дав волю воображению, видит он родную избу и жену Маняшу, стоящую на пороге, и детей его, уже чуть-чуть подросших. Видит и успокаивается, потому что здесь они, рядом, и в любое время он заскочить к ним может, в любую свободную минутку...

А бомбардировщик шумит моторами, свистит винтами, и дрожит металл под ногами Добрынина, дрожат стены летающей машины, и от этого еще больше грустнеет народный контролер, чувствуя и понимая, как мало от него сейчас зависит, какой маленький он посреди неба, и снова приходит на ум строчка из стихов: «Единица – ноль». И теперь, в небе, в самолете, дрожащем и шумном, соглашается Добрынин с этой строчкой, потому что на самом деле: что он один может сделать? Летчик может, но и летчик не всемогущ, потому что если поломается что-то в машине – лететь им вместе вниз! Но нет страха в Добрынине, есть только кратковременная грусть, и настолько она кратковременна, что уже буквально через полчаса, заново задумавшись, отвергает народный контролер правоту стихотворной строчки, отвергает и свою грусть, как чуждое и бесполезное чувство. Отвергает все, с чем он теперь не согласен. И начинает ждать. Начинает ждать приземления на далеком Севере, где ждет его друг, спаситель и помощник Дмитрий Ваплахов, где командир Иващукин всегда готов прийти на помощь, где так много предстоит работы перед тем, как сможет он доложить товарищу Тверину, что жизнь на советском Севере проверена и все несправедливости исправлены.

А самолет забирался все выше и выше и таранил одинокие облака, встречавшиеся на его пути. Добрынин, отвлекшись от мыслей и чувств, читал первый рассказ из второго тома книжки, подаренной ему товарищем Твериным. Рассказ назывался «Секретная просьба» и говорилось в нем о том, что Владимир Ильич Ленин не любил получать подарки. С интере-

сом узнал народный контролер, что каждый день вождю по почте приходили десятки, а то и сотни посылок с подарками от рабочих, крестьян и солдат.

Увлечшись чтением, не обращал больше народный контролер внимания на шум и дребезжание металла.

В рассказе говорилось о том, как однажды получил Ленин от белорусских ткачей письмо, в котором сообщалось, что они, ткачи эти, собираются выслать вождю отрез ткани на костюм. Почитал Ленин письмо, вызвал Бонч-Бруевича и сказал ему, что живут на Руси до сих пор старые вредные традиции, по которым в дореволюционное время высылали крестьяне помещикам и наместникам разные подарки. А посему, чтобы с традициями этими бороться, сказал Ленин Бонч-Бруевичу взять бумагу и ручку и записать со слов вождя письмо для белорусских ткачей. В письме этом поблагодарил Ленин ткачей за доброе к нему отношение, но попросил отреза ткани не присылать, а также передать всем ткачам и другим рабочим и жителям этого белорусского городка, что он, Ленин, очень не любит подарков. Отослал Бонч-Бруевич письмо. Получили его белорусские ткачи, прочитали всем собранием, головами покивали, мол, поняли. И, как просил Ленин в письме, стали всем они сообщать его «тайную просьбу», как он сам ее назвал, чтобы подарков ему не присылали. Случился в это время в городке солдат местный, приехавший к семье в отпуск из своего отряда, что за Уралом стоял. Услышал и он тайную просьбу вождя, а когда вернулся в отряд, то всем солдатам и офицерам ее передал, и очень кстати, потому как они в это время как раз посылку вождю собирали. Поняли они, что не нужна вождю их посылка, и забыли об этом деле, однако о просьбе вождя помнили и скоро, демобилизовавшись и вернувшись в родные города и села, разнесли они эту просьбу по самым заветным закоулкам России. Так постепенно почти вся страна узнала о тайной ленинской просьбе. Однако и сейчас в различных далеких местах о ней еще не слыхали или, может быть, только-только узнали, а может быть, только завтра приедет туда человек, который расскажет о ней. Другое дело с границей случилось. Не попала туда эта просьба, не слышали о ней заграничные интернационалисты, и идут по сей день из-за рубежа посылки и письма вождю, идут вагонами. Всё присылают ему соратники: и книги, и еду, и одежду. И ничего им об этом не пишет Ленин, потому что за границей свои законы и традиции и нужно их уважать. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят!..

Дочитал Добрынин рассказ, перевел дух и задумался. И мысли в его голове закружились интересные и неожиданные. «Интересно, а товарищ Тверин подарки любит?» – подумал народный контролер. И тут же мысленно переключился на себя самого, и понял он, что получать подарки ему очень нравится, но, к сожалению, об этом никто не знает. И после этой мысли полез Добрынин в вещмешок, чтобы посмотреть на подаренный ему товарищем Твериным револьвер. Потом пощупал печенье – подарок в дорогу от товарища Волчанова, потом нашупал еще что-то плоское в вещмешке. Вытащил, посмотрел – и слезы в глазах появились. Держал он в руках паспорт коня Григория. Тяжело стало враз на душе, воспоминания нахлынули. А ведь конь тоже подаренным был.

Смутилось все в голове Добрынина, замерли мысли, переживая его волнение. Дрожащей рукой засунул народный контролер книжицу паспорта погибшего на Севере коня во внутренний карман зеленого кителя.

Заглянул в иллюминатор, стараясь отвлечься от печали. Внизу все еще зеленела земля, пересеченная, как разрезанная на части, дорогами и рельсами. Не спеша ехал куда-то товарняк, дымила труба паровоза. А навстречу ползла длинная череда красных цистерн с двойной паровозной сцепкой впереди.

«Кровь повезли!» – думал Добрынин. А ведь есть там и кровь его товарищей: Тверина и Волчанова... А его, добрынинской, крови нет.

И удивился в мыслях народный контролер, что никто его не просил кровь сдать.

Уселся Добрынин на своем сиденье поудобнее. Отвлёкся от иллюминатора. И тут же слезами в глаза новые воспоминания – он на белом коне Григории с мотоциклетным эскортом по Москве... На коленях все еще лежит второй том книжки «Детям о Ленине». «А он животных любил?» – подумал народный контролер, снова раскрывая книгу. Полистал, останавливая взгляд на картинках, и вдруг – «Ленин и кошки» – картина художника Файнберга, иллюстрация к стр. 56. Полегчало враз на душе у народного контролера. Рассмотрел он картинку повнимательней, посчитал, сколько кошек изображено. Пять вышло: одна на коленях у вождя, две на той же скамейке рядом, одна на земле о штанину Ленина трется и еще одна притаилась в самом углу картинки, под кустом сирени справа от скамейки.

– Страница пятьдесят шесть... – повторил, запоминая, народный контролер.

Сейчас читать ему не хотелось. Хотелось вздремнуть. Но впереди долгий полет. Немного поспит, очухается и тогда уже этот рассказ обязательно прочитает. Обязательно.

Самолет летел параллельно земле выверенным курсом.

Летчик, осознавая свое мастерство, молча гордился собой и думал: а замечает ли его пассажир, как гладко скользит по небесной ткани тяжелая военная машина?

Пассажир дремал. Ему виделись звезды, огромные рубиновые звезды, такие же, как кремлевские, только высоко в небе. И светили они оттуда ярче, чем солнце.

Время тянулось неспешно.

У летчика в желудке заурчало – он посмотрел на часы.

Полдень.

Долог путь на Север. Широка страна.

Поздно вечером, ощутив содрогания тяжелой боевой машины, Добрынин проснулся. И услышал, как летчик говорит с землей. Летчик говорил громко, а в ответ слышалось шипение, треск и едва прорывающийся через все эти помехи голос.

– Три костра! – кричал летчик. – Со стороны просеки... и один в самой просеке, чтобы я линию вывел!..

Из этого разговора понял Добрынин, что уже подлетают они к месту назначения. За окошком иллюминатора было совершенно темно, но прямо над головой народного контролера горела неярким светом одинокая лампочка.

Добрынин снова открыл книгу, лежавшую у него на коленях.

«Ленин и кошки», – прочитал Добрынин название рассказа.

Буквы были маленькие, тонкие и дрожали в этом сумраке, словно вот-вот собирались выпасть из книжки.

Он поднес книжку к лицу, прочитал: «Ленин очень любил кошек».

Глаза заболели и, огорчившись из-за невозможности читать, Добрынин закрыл книгу до лучшего светлого времени.

При приземлении тяжелый бомбардировщик снесло на снегу с невидимой полосы, и он едва не задел левым крылом мощные стволы кедров, росшие плотной стеной по обе стороны просеки-полосы.

Воздух северной ночи был холоден и густ. Снег скрипел сладко, напоминая о детстве.

Оставив самолет на полосе, летчик и Добрынин медленно шли в сторону трех недалеких костров, огонь которых был примечательно красным, словно горело там некое специальное топливо.

Когда подошли ближе, народный контролер разглядел, что в общем-то это и не костры были, а бочки из-под керосина.

Летчик повел носом в сторону гари и сказал:

– Мазут!

Навстречу спешили несколько человек. В сумраке ночи, слегка подсвеченном снегом, они казались бесформенными темными пятнами, пока не подошли на расстояние вытянутой руки.

– Ну, брат, с возвращением! – прогремел над снегом голос командира Иващукина.

Добрынин, сжимавший в одной руке вещмешок, ощутил, как мощные руки обняли его, и теплее ему стало, будто холод ушел под напором этих мощных рук.

– С приездом! Товарищ Добрынин! Ай, хорошо, вернулся совсем! – радовался стоявший рядом с командиром Дмитрий Ваплахов, последний урку-емец.

Народного контролера охватило радостное волнение. Он шагнул вперед. Попытался обнять сразу двух своих друзей, но руки оказались короткими, тем более что оба встречавших были одеты в толстенные тулупы.

Зайдя в штаб и отряхнув снег с одежды и обуви, они прошли в жилую часть, где обитал командир Иващукин. В комнате стоял квадратный стол, несколько стульев, одно не известно как попавшее сюда кресло-качалка и железная сетчатая кровать с круглыми набалдашниками на ребрах спинок.

Стол был празднично накрыт.

Пилот, зайдя в комнату последним, ахнул, глянув на ряды бутылок, консервы и высокую стопку шоколадных плиток, входивших обычно в боевой рацион танкистов и летчиков.

– Приказываю сесть! – рявкнул Иващукин, и голос его зазвенел в комнате радостно и задорно.

Все побросали тулупы на кровать. Уселись вокруг стола.

– Ну вот мы и снова вместе! – уже сидя, негромко, по-домашнему выдохнул командир.

Потом покосился на двух солдат, пришедших вместе с ними, – они стояли в своих тулупах и напряженно смотрели на стол.

– Сержант Варнабин и рядовой Саблин! Приказываю получить у прапорщика бутылку питьевого спирта и торжественно отметить в узком солдатском кругу возвращение товарища Добрынина.

– Слушаюсь! – рявкнули сержант и рядовой и, развернувшись кругом, вышли из комнаты.

– Налить! – продолжал свою линию Иващукин. – После первой не запивать и не закусывать!

Приказы за столом исполнялись четко и беспрекословно. После первого же стакана спирта Добрынин обрел новое видение. Черты и линии предметов и людей, окружавших его, стали расплываться и рассеиваться. Стол приобрел овальную форму, избавившись неизвестным образом от своих прямых углов. Бутылки наклонились, и, испугавшись, что они сейчас сами по себе упадут, Добрынин протянул руку к ближайшей, чтобы удержать ее.

Предупредительный урку-емец, совершенно трезвый после уже второго стакана, не понял намерений народного контролера и, попросту взяв ту самую бутылку в руку, наполнил пустой стакан Добрынина.

Добрынин кивнул.

Что было потом, он не помнил. Но, судя по всему, ничего особенного не произошло. Во всяком случае, проснулся он на койке в солдатской комнате-казарме, хорошо укутанный в три одеяла и сверху накрытый шинелью. Проснулся, посмотрел все еще замутненным взглядом по сторонам.

Рядом кто-то храпел, накрывшись с головой.

Народный контролер сунул руку под койку и к своей радости нашупал там вещмешок.

Вставать не хотелось. Не глядя, он вытащил из вещмешка книжку, раскрыл ее на пятьдесят шестой странице, сам удивившись собственной хорошей памяти, и стал читать.

«Ленин и кошки».

Ленин очень любил кошек. В Горках, где он лечился после ранения, было очень много бродячих кошек. Питались они обычно в кухне санатория. Мало перепадало им. Чаще всего какая-нибудь сердобольная повариха украдкой подбрасывала одной или другой кошке рыбий хвостик или куриные потроха. Но главный повар санатория кошек не любил и очень плохо к ним относился. Думал он, что с медицинской точки зрения вредно иметь в санатории бродячих кошек, и поэтому вызвал специальную бригаду из Москвы по отлову бродячих животных.

Приехала однажды в полдень в санаторий специальная машина – черный крытый грузовик. Вышли оттуда четыре здоровых мужика с большими сачками в руках. И стали они по санаторию бегать и кошек ловить.

А Ленин в это время на своей любимой скамейке в санаторном скверике сидел и кошек гладил. Подбегает к этой скамейке вдруг мужик с сачком и хватить одну рыжую кошку, что чуть в стороне на солнышке лежала. Задергалось, заизвивалось бедное животное в сетке сачка, а мужик стоит довольный и, наверно, жалеет, что сачок такой маленький, что только одну кошку за один раз поймать можно.

Тут Ленин и говорит ему:

– Чему радуетесь, товарищ? Дети есть? Живете в Москве? С какого года в партии?

Потупил свой взгляд в землю мужик – ведь знал он, кто сидит перед ним.

– Я, – говорит, – радуюсь оттого, что приношу пользу людям.

А глаза не поднимает.

– А что за польза? Давно ли этим занимаетесь? Сколько в день кошек ловите?

– Так ведь бешеных много среди бродячих животных. Детей покусать могут, а дети потом помрут. Нехорошо... – отвечал мужик.

А Ленин слушает да все черную кошку гладит.

– Я сейчас, я быстро вернусь... – проговорил мужик и побежал с пойманной кошкой к машине.

Через минуту действительно вернулся с пустым сачком.

Пока бегал, Ленин черную кошку шлепнул легонько, чтобы убежала она. Однако рядом еще три кошки на солнышке лежали.

Накрыл мужик сачком следующую, поднял ее над землей.

– Красивое животное, – сказал мужик с сожалением. – Но у меня работа такая.

– Работать надо от души! – сказал Ленин, поднимаясь со скамейки. – Вот вам ваша работа нравится?

– А чего? – пожал плечами мужик. – Главное, чтоб польза была. Я деньги не за так получаю...

– Вот-вот, правильно! – похвалил вождь. – Главное, чтоб польза была.

И, сказав это, пошел Ленин в глубину скверика.

А мужик все стоял и смотрел вслед вождю, усиленно думая над его словами. Пока думал – оставшиеся две кошки, осознав опасность, скрылись в кустах и таким образом остались живы.

Вот такая история произошла в подмосковном санатории «Горки».

(Записано со слов поварихи Е.М. Пустовойт.)»

Рассказ несколько озадачил Добрынина, но сам он понимал, что после всякого пьянства голова работает медленно и хуже обычного. Однако, поразмыслив некоторое время над содержанием, он усмотрел хитрость в поведении вождя, благодаря которой не все кошки были отловлены в санатории «Горки». И после этого как бы просветление наступило для народного контролера: понял он, что, с одной стороны, Ленин порядок уважает и поддерживает, раз не остановил он этого мужика в самом начале, а, с другой стороны, вождь и животных любит, что проявилось в его последующем поведении. «Стало быть, – подумал Добрынин, – можно иногда проявлять смекалку и при этом не нарушать заведенного порядка...»

Последняя мысль была как бы умнее самого народного контролера, и он ей очень удивился, одновременно и понимая ее, и недопонимая.

Откуда-то раздался грохот. Потом кто-то громко закричал, выматерился кратко и затих. Добрынин вылез из-под одеял и обнаружил, что спал совершенно одетым.

В казарме было нежарко.

По старой памяти нашел Добрынин столовую, сел за деревянный стол.

Из окошка выдачи пищи высунулась удивленная физиономия солдата с Востока.

– Кушать, да? – спросил он.

– Да, – ответил Добрынин, протирая не умытые со сна глаза.

– Каша, мясо, да? – снова спросил солдат.

– Ага.

– Мясо медведь, – объяснил солдат-повар. – Кости нэт, осколки снаряд есть. Кушать осторожно надо...

Добрынин кивал, ожидая, когда уже что-нибудь появится перед ним на столе.

Минут через пять появилось обещанное. Перловая каша, прохладная, но с прожилками застывшего жира. И мясо, бурое, еще теплое.

– А пить? – спросил Добрынин.

– Чай нэт. Командир забрал. Вода в ведро!

Завтрак оказался не аппетитным, но сытным.

Поднявшись после того, как тарелка стала совсем пустой, за исключением железных снарядных осколков, вытасненных из мяса, народный контролер пошел искать полковника Иващукина.

Вместе с сытостью пришло к Добрынину желание работать, и работать немедленно.

Иващукина нашел в его комнате-кабинете. Полковник сидел за столом, углубившись в книгу.

Добрынин кашлянул, привлекая внимание.

– А-а! – Иващукин поднял глаза на народного контролера. – Как самочувствие? Проспался?

– Да, в общем-то...

– А позавтракать?

– Спасибо, я уже... Я думаю, надо работать ехать...

– А куда теперь? – поинтересовался полковник.

Добрынин пожал плечами.

– Главное, чтобы было что проверять... может, завод какой или фабрика?

– Ну, этого тут поблизости нету... – Иващукин задумался на минутку, и вдруг его осенило: – Слушай, а давай заготовку пушнины проверишь?

– Давай! – согласился Добрынин.

– Отлично! – улыбнулся командир части. – Поедешь в Бокайгол, там и радиостанция есть, радист Петров сидит. Если что – можешь через него с нами связаться.

– А как я туда доеду?

– Ну, брат, что мы тебя не отвезем, что ли, – развел руками полковник. – А танк у нас для чего?

Добрынин окончательно успокоился.

– Давай я тебе на карте покажу! – сказал, поднимаясь из-за стола, Иващукин.

Карта висела на стене.

– Вот, смотри, здесь мы! – Иващукин ткнул толстым пальцем в красную точку, вокруг которой разливалось сплошное салатное пятно. – А вот тут Бокайгол!

Добрынин, следивший за пальцем полковника, удивился расстоянию, но промолчал.

– Ближе только Хулайба, но ты уже там был! – развел руками Иващукин.

Народный контролер кивнул.

Через полчаса заправленный под завязку танк стоял перед входом в домик-штаб. Рядом с боевой машиной переступал с ноги на ногу солдатик-танкист.

Урку-емец сердечно попрощался с военными друзьями. Даже прапорщик, самый угрюмый и нелюдимый среди местных военных, и тот пришел обнять Дмитрия Ваплахова.

Добрынин зашел в комнату-казарму забрать свой вещмешок.

Вышел во двор. Глотнул морозного воздуха и потопал к танку, на ходу застегивая подаренный Иващукиным кожаный.

Подождали туда и полковник с двумя солдатами, несшими ящик бутылок питьевого спирта.

– Че это? – спросил Добрынин.

– Это Дмитрия хозяйство! – ответил полковник. – Это он честно в карты выиграл! Пригодится в дороге!

Прощание было кратким.

Затащив ящик бутылок в танк, солдаты выбрались наружу, потом в люк спустился Ваплахов, Добрынин и солдаттанкист. Загудела тяжелая машина и поехала, оставив позади военный городок и его обитателей.

Первое время ехали молча. Урку-емец пребывал в грустном настроении – видимо, не хотелось ему покидать военный городок и новых друзей.

Добрынин думал о громадности Родины. О том, что сердце Родины Москва – намного теплее далекого Севера. Вскоре ему надоело молчать и, вытащив из вещмешка мандат на имя Ваплахова, он протянул документ Дмитрию.

Дмитрий, прочитав свой мандат, просиял.

– Я теперь тоже русским могу быть?!

– Почему? – Добрынин удивился.

– Ну раз я – помощник русского человека Добрынина, то я могу тоже русским быть?! – повторил свой невнятный полувопрос-полуутверждение урку-емец.

– Зачем тебе русским быть? Ты же урку-емец!

Слова народного контролера дошли до Дмитрия, и он задумался.

Танк ехал по давно прорубленной в тайге просеке-дороге, оставляя за собой на снегу две полосы гусеничных следов.

Добрынину захотелось пить – после вчерашнего застолья в горле была такая сушь, что предложи сейчас кто-нибудь народному контролеру литр компота – за раз выпил бы, одним глотком!

– Что-нибудь выпить есть тут? – наклонившись поближе к танкисту, спросил Добрынин.

– А-а? – переспросил солдат, не разобрав в гулком шуме едущего танка слова народного контролера.

– Пить! Пить! – повторил Добрынин и показал обернувшемуся танкисту свой открытый рот, добавив смысла жестом правой руки.

Танкист показал на ящик питьевого спирта.

– Нет! – крикнул Добрынин. – Другое! Вода есть?

Танкист отрицательно замотал головой.

Вздыхнув тяжело, Добрынин вытащил из ящика одну бутылку. Открыл, приложился и тут же, после первого глотка, скривил лицо до неузнаваемости из-за отвратности вкуса этого напитка.

Танк вдруг остановился, и стало тихо.

– Что там? – спросил Добрынин, увидев, что танкист прилип к щели обозрения.

Солдат пожал плечами и полез в люк.

Добрынин, отставив бутылку, заглянул в обзорную щель.

Перед танком белоснежную просеку-дорогу пересекала широкая полоса следов.

– Стадо какое-то прошло? – пожал плечами Добрынин. – Стоит из-за этого останавливаться!

Ваплахов тоже заглянул в щель. Присмотрелся и тут же полез в люк.

Добрынин, не захотев оставаться в танке один, тоже выбрался на морозное безветрие. Хрустнул снег под ногами.

Подошли они к этой протоптанной дороге.

И тут народный контролер отвлекся от неприятного спиртового вкуса во рту – перед ним на снегу были видны следы десятков человеческих ног, совершенно босых, с отпечатками пальцев.

Дмитрий присел на корточки и уставился на следы напряженным взглядом.

Солдат-танкист просто стоял с открытым ртом.

Добрынин нахмурил брови, пытаясь найти какое-нибудь объяснение увиденному, но это ему не удавалось.

Ваплахов поднялся, пристально посмотрел в ту сторону, куда вели десятки следов, и медленно пошел туда.

– Ты куда? – спросил Добрынин.

– Посмотреть надо, – ответил, не оборачиваясь, Дмитрий.

Пройдя метров сто – сто пятьдесят, Ваплахов остановился и снова присел на корточки, что-то разглядывая.

Добрынин и танкист подошли к нему.

– Дерьмо, – сказал солдат-танкист сам себе, увидев, что Ваплахов действительно разглядывает темно-коричневую кучку, лежащую в центре небольшого круга бурой земли, вынырнувшей из-под растаявшего снега.

– Дня три назад прошли! – сказал Ваплахов.

«Тоже мне следопыт! – подумал Добрынин. – Много ты по этому узнать можешь!»

Танкист пожал плечами. Он тоже с сомнением подумал о возможности определять что-нибудь по оставленному кем-то дерьму.

– Это мой народ, – проговорил дрожащим голосом Дмитрий. – Урку-емцы...

– Что, живы? – недопонял Добрынин.

Ваплахов, поднявшись на ноги, кивнул.

– Только они могут голыми ногами ходить... Надо проверить... Один должен быть в унтах! – вспомнив, проговорил он. – Если есть следы от унт, значит они!

Танкист и народный контролер зашарили глазами по истоптанному снегу.

– Да не, – выдохнул с паром солдат. – Тут все босиком! У-ух, в такой морозище голыми пятками по снегу!

Добрынин молча просматривал следы и вдруг отчетливо увидел более мягкий след обутой ноги.

– Есть! – крикнул он стоявшему недалеко Ваплахову. – Есть один!

Дмитрий подошел, осмотрел след.

– Точно они, – сказал он через минуту.

Но радости в его голосе не было.

– Что, может, поедем следом? Поищем? – предложил Добрынин.

Дмитрий молчал.

– Никак нельзя! – вставил свое мнение танкист. – Карты нет, горючего не хватит. Надо в Бокайгол ехать!

Снова забрались в танк. Разрушилась безветренная тишина, загудела боевая машина и поползла дальше по просеке-дороге, передавив в двух местах широкую полосу человеческих следов.

– Слушай, а чего они босиком? – перекрывая гулкий шум двигателя, спросил Добрынин у Дмитрия.

– Старая легенда, – отвечал Ваплахов. – Урку-емцы – не северный народ. Они пришли с юга счастье искать. Урку-емцы всегда счастье ищут. А народ может идти счастье искать только голыми ногами. На охоту – можно унты надеть, а счастье искать – только голыми. Значит, опять ушли счастье искать...

– А что, уже ходили? – спросил Добрынин.

Дмитрий тяжело вздохнул.

– Ходили, когда я еще не родился. Туда, к Хулайбе пришли...

Добрынин снова взял в руки початую бутылку спирта. Протянул урку-емцу. Тот отхлебнул легко, даже не скривившись. Вернул бутылку народному контролеру. Добрынин тоже отхлебнул.

«Странный какой-то народ! – подумал он, опуская бутылку обратно в ящик. – Босиком по снегу счастье искать?» – И замотал недоуменно головой.

Спирт катился вниз, в самое нутро народного контролера, согревая все на своем пути. Приятно жгло горло.

Солдат-танкист оглянулся, посмотрел просительно на народного контролера, и контролер все понял. Он снова взял эту бутылку спирта – там уже оставалось чуть-чуть – и протянул танкисту. Танкист приложился и опустил пустую бутылку на железный пол машины.

Добрынин почувствовал, как тепло разливается по его ногам, заполняет вены и снова поднимается вверх. Сладкая тяжесть придавила его к неудобному сиденью. Он прикрыл глаза, и гул боевой машины стал вдруг тише.

Перед закрытыми глазами проклюнулось как бы кинематографическое изображение, легкая музыка перемешалась со звуком ветра. Слабенькая метелица понесла снежок по улицам деревни Крошкино. И увидел в этом сне Добрынин себя самого, идущего домой.

Вот идет он по улице и вдруг слышит: «Убило! – кричит кто-то. – Председателя убило!» Повернул тогда Добрынин к председательскому дому, приблизился, а там уже толпа вокруг чего-то собралась, а на месте дома одни обломки. Вдруг со стороны обломков красноармеец идет и говорит громко так, чтобы все слышали: «Вот оно! Вот!» И поднимает обеими руками черный камень величиной с хорошую человеческую голову.

А в это время кто-то со спины Добрынину шепчет: «С Рождеством, Пал Саныч, с Рождеством вас!»

Оборачивается Добрынин, а там совсем неизвестный ему товарищ в черной кожанке.

– Я атеист! – шепотом отвечает ему Добрынин.

– А это мы вас, товарищ Добрынин, проверяем! – говорит этот человек.

И тут же видит Добрынин, что нечто непонятное происходит с его проверяющим. Начинает он весь дрожать и прозрачнеть, пока совсем не растворяется в этой слабенькой метелице.

А Добрынин смотрит по сторонам и его взглядом ищет.

И видит, что тот же товарищ в кожанке склонился над убитым председателем, лежащим на снегу.

И показалось Добрынину, что разговаривают они. Председатель как бы последние распоряжения отдает. А товарищ в кожанке слушает и кивает.

И тут скучно стало Добрынину. Вспомнил, что в кармане тулупа у него леденцы для своих деток, а в кармане штанов – гребешок для жены. А тут толпа не известно из-за чего. Председателя, кричали, убило, а он с кем-то разговаривает. Плюнул мысленно Добрынин и пошел к своей избе.

Пришел, поцеловал жену Маняшу и деток, раздал им подарки.

– А чего сегодня-то? – удивилась жена. – До Нового года еще неделя почитай!

– А и впрямь – чего сегодня?! – подумал вслух Добрынин.

Подумал-подумал, да и отобрал подарки назад.

– Через пять дней получите! – строго ответил он плачущим малышам, успевшим только в ручках леденцы подержать.

Вышел после этого во двор, постоять возле любимого пса Митьки, а уже вечер, и метель по-настоящему метет, с завываниями. Подошел к собачьей конуре, постучал по ее деревянной крыше, а оттуда Митька голос подает – вместе с метелью воет. Так стало хорошо на душе у Добрынина, так тепло, спокойно и радостно, что слезы на глазах появились, то ли от ветра со снегом, то ли от чувств. И захотелось самому повыть, чтобы чувствовал пес Митька хозяйскую поддержку. И хоть понимал Добрынин, что у собак дела собачьи, а у людей – человеческие, но не было ему стыдно, тем более что метель такая, покрывало снежное на ветру развеивается, а не метель! Взял он и завыл от души. А Митька черную морду из будки высунул, посмотрел на хозяина хорошим добрым взглядом и снова – у-у-у-у-у-у-уууууууу, а Добрынин тоже – у-у-ууу. Так они и выли в этой снежной круговерти...

– Эй, товарищ Добрынин! Товарищ Добрынин! – затормошил кто-то спящего народного контролера за плечо.

Открыл глаза контролер, а на него солдат с испугом смотрит.

– Вам плохо? – спрашивает.

– Нет, хорошо... – отвечает Добрынин.

– Вы кричали во сне... – лепечет солдат. – Может, выпьете еще, успокаивает, я по себе знаю... спирт – она штука такая, и нервы лечит.

– А что я кричал? – поинтересовался Добрынин.

– У-у-уууу! – повторил солдат. – Как метель завывает или поезд идет.

Добрынин кивнул.

– А мы что, приехали уже? – спросил он вдруг, сообразив, что танк стоит на месте и тихо вокруг.

– Ага, – ответил солдат.

Добрынин обернулся на Ваплахова посмотреть, но Дмитрий спал, весь изогнувшись на неудобном сиденье. Спал крепко и даже не сопел.

– Так что, вылезать будем? – спросил Добрынин.

– Я сейчас, – заговорил солдат. – Я только схожу к радисту Петрову, чтобы отрадировал он командиру, что мы доехали, и спрошу, где вы жить будете, так что отвезу вас потом на место, а потом уже назад. Давайте вместе еще бутылочку... – последнюю фразу солдатик-танкист произнес совсем негромко, почти шепотом.

– Да-а-авай... – просопел, не открывая глаза, Ваплахов. – Народ мой помянем...

– Э-гэ... – удивился вслух Добрынин. – Где это он уже поминать научился?

– Эт пока вас не было... в городке поминки справляли... третий год, как отряд с соседнего военгородка пропал... – ответил солдат.

– Как пропал?

– Кто его знает. Зима суровая была, а они на радиосвязь не выходят. Весной после пурги поехали посмотреть – городок целый, а людей нет, и вещей нет... Пусто совсем... Больше их и не видели нигде... Да и кто их увидит, если вокруг никто не живет... Ну ладно, я полез, а вы подождите...

Танкист просунул свое щуплое тело в люк, и только подошвы его сапог мелькнули над головой Добрынина.

Ваплахов проснулся, протер глаза. Взял одну бутылку, открыл. Пригубил немного. Протянул ее Добрынину.

Народному контролеру пить не хотелось.

Он встал во весь рост, просунул голову в люк – посмотрел по сторонам.

Танк стоял перед домиком, над которым примерзший к деревку красной сосулькой висел обледенелый флаг.

Тишина была звонкой, какая бывает только при выдающемся морозе, но мороза Добрынин не ощутил.

Дверь в домике с флагом открылась. Вышел солдат, за ним следом человек в военной форме, глаза узкие, лицо круглое, а нос приплюснутый.

Выбрался Добрынин наружу, загудела броня под его ногами, пока не спрыгнул он на снежок. Подошел к дому, протянул руку военному.

– Народный контролер Добрынин, – представился он.

– Радист Петров! – ответил узкоглазый военный.

С сомнением посмотрел на него Добрынин. Не подходила ему эдакая чисто русская фамилия.

Радист, чувствуя недоверие, вытащил из кармана гимнастерки документ и протянул его народному контролеру.

Документ был квадратный, а в левом нижнем углу крепилась фотография узкоглазого. И на чистом русском языке далее следовала запись: «Военный радист Петров Константин Самойлович». Потом подписи каких-то начальников, а перед одной из подписей – краткое: «командарм...»

«Самойлович? Петров? – подумал, все еще немного сомневаясь, Добрынин. – А может быть! Написано же – Петров!»

Таким образом, сам справившись со своими сомнениями, протянул Добрынин Петрову руку.

– Ну, с приездом, заходите! – улыбнулся военный радист, открывая деревянную дверь.

«А улыбка все равно не русская!» – подумал на ходу народный контролер, но тут же подавил эту мысль – документ говорит, что он русский, значит русский.

– Вы один? – остановившись у бочки-буржуйки, спросил Петров Добрынина.

– Нет, с помощником, – ответил контролер.

– Ну, думаю, что вам здесь будет удобно. В этой комнате поживете. Я в соседней живу, здесь за стенкой. А помощник ваш где?

– В танке, – сказал Добрынин.

– Я его сейчас позову! – сказал стоявший в дверях смекалистый солдат и выбежал из домика.

Через пару минут в дверях появился Ваплахов, державший в руках ящик бутылок питьевого спирта.

Радист Петров пристально осмотрел вошедшего, потом сделал шаг вперед и обменялся с ним рукопожатием.

– Располагайтесь, а я пока сообщу полковнику Ивашукину, что вы доехали, – сказал он и вышел из комнаты.

Комнатка была небольшая, но теплая, хорошо протопленная. Под стенами стояли две железные кровати, кроме этого тут же был небольшой овальный столик, три стула, карта Советского Союза во всю стену, на узком подоконнике единственного окошка комнаты стоял горшок с землей, но без цветка.

Осмотревшись, Добрынин уселся на кровать, опустив вещмешок на деревянный, крашеный в коричневый цвет, пол.

Дмитрий поставил ящик на стол и тоже присел, но только на стул, рядом.

Вид у него был усталый и нерадостный.

– Ты чего такой? – спросил у него Добрынин.

– Голова болит, – простонал урку-емец.

В комнату заглянул солдат-танкист, отдал честь и, сообщив, что уезжает обратно в город, ушел.

За окошком загудел двигатель бронированной машины.

Деревянный пол шевельнулся под сидевшими.

– Петров – не русский человек, – проговорил вдруг Дмитрий, исподлобья уставо глянув на своего начальника.

– Я документ читал, – сказал на это Добрынин. – Там написано, что русский... Да и какая разница?

Ваплахов не ответил. Был он необычайно бледен.

Зашел с чайником в руках радист Петров. Поставил чайник на стол, достал из-под кровати три кружки.

– Порядок, – сказал он. – Привет от Иващукина.

– Спасибо, – проговорил Добрынин.

– А что, товарищу плохо? – Петров кивнул в сторону Ваплахова. – Может, ему головку подлечить надо? Стаканчики есть.

Добрынин пересел с кровати за стол, отодвинул от себя ящик с бутылками.

– А мы его на пол, чтоб пространство было! – весело проговорил Петров, перемещая ящик вниз. – Или сначала, до чая?.. А?

Со стороны Ваплахова никакого сопротивления этому предложению не поступило. Добрынин тоже промолчал, и тогда Петров, достав из ящика полную бутылку, разлил ее всю по кружкам.

– Ну, с приездом! – рявкнул он, резко по-русски выдохнул воздух и серьезно приложился к своей кружке.

«Русский!» – подумал народный контролер, внимательно следя за радистом.

Потом сам повторил тот же прием, но не пошел спирт одним глотком, поперхнулся Добрынин, и хорошо, что радист с силой его по спине двинул – сразу отпустило.

– Чайку, чайку быстрее! – приговаривал Петров, подливая чая.

Ваплахов пил спирт медленно, каждый раз словно пригубливая, но когда он опустил кружку на стол – она оказалась пустой.

Петров озадаченно посмотрел на урку-емца, и что-то недоброе шевельнулось во взгляде его узких, словно навечно прищуренных глаз.

Очухавшись, народный контролер перешел на чай и разговоры.

Прежде всего спросил о заготовке пушнины.

– Документы на складе, – ответил на это Петров. – Пушнина там же, а охотники со своим начальством уехали дней десять назад и раньше чем через неделю не будут.

После этого Петров объяснил, что шкурки проверяются поштучно и каждая имеет свой номер, написанный химическим карандашом с внутренней стороны, и что по этому номеру можно определить, кто заготовил эту шкурку и когда это было.

Подумав немного, сказал Добрынин, что его главная задача – это проверить качество и количество, а кто заготовил и когда это было – его не интересует как народного контролера.

Ваплахов вторую кружку пить не стал, хоть радист и налил ему.

Плохо было урку-емцу, с трудом он держал на шее голову, которая все клонилась и клонилась на левое плечо.

– А вы, товарищ радист, стихи любите? – спросил вдруг изрядно опьяневший Добрынин.

– Нет, – ответил Петров. – Не люблю. Технику люблю и радио, а стихи нет...

Что-то щелкнуло в голове у народного контролера, и он как бы протрезвел немного. Неожиданным был ответ радиста. А так хотелось Добрынину в этот момент хорошие стихи послушать...

Встал он, шатаясь, из-за стола, вытащил из-под кровати вещмешок и стал в нем рыться, желая книжку подаренную найти, но нащупал вместо этого пачки печенья. Вытащил, поглядел на них изумленно и тут же себя по лбу шлепнул: это ж он Иващукину хотел отдать!

– О, у вас к чаю есть! – обрадовался Петров. – Давайте, давайте все на стол!

Нехотя опустил Добрынин на стол печенье «Октябрь».

Снова пили чай, разговор не вязался. Петров все предлагал еще одну бутылку спирта раздавить, но Ваплахов уже спал, уронив голову на стол, а Добрынин молча отказывался едва заметным покачиванием головы.

В конце концов, допив чай, Петров встал и, буркнув что-то на прощанье, вышел.

С большим трудом перетащил народный контролер своего помощника на кровать, а потом и сам улегся.

На следующее утро, проснувшись, Добрынин порадовался своему богатырскому здоровью, ведь голова не болела и, как это ни странно, не возникло у контролера желания похмелиться. Ваплахов же наоборот, чувствовал себя ужасно. Он тоже проснулся, присел на кровати, но никак не мог подняться, так как пол ему казался очень неустойчивым.

В конце концов Добрынин пожалел его, налил полстакана спирта, после чего Дмитрий пришел к состоянию собственного равновесия и встал на ноги.

Аппетита не было. Но Добрынину страшно хотелось работать, и он разбудил спавшего за стенкой в другой комнате радиста Петрова.

Петров был искренне удивлен, что двое приезжих хотят сразу же приступить к работе, тем более, что один из них, Дмитрий Ваплахов, отличался голубым оттенком кожи лица и каким-то странным, направленным вовнутрь глаз, взглядом. Однако понял он, что контролер упрям и серьезен в своих намерениях.

И вышли они втроем на улицу. Какая это была улица – это уже другой вопрос, ведь в городке насчитывалось только шесть построек, из которых самая большая оказалась складом заготовленных шкурок.

Рыжие кожухи были очень теплыми, но и Дмитрий, и Добрынин ощущали, как мороз кусает щеки и нос.

В складе была такая же температура, как и на улице.

– Вот тут книги учета! – Радист Петров дотронулся до пачки гроссбухов, лежавших на письменном столе у самой двери. Дальше все пространство было завалено шкурками – лежали и висели они в связках, но некоторые валялись на полу и сами по себе, имея вид жалкий и ошипанный.

– Ну, тут уже сами разберетесь, – то ли спросил, то ли просто сказал Петров.

Добрынин кивнул.

Ваплахов не мог кивнуть – казалось ему, что если он наклонит голову вперед – исчезнет равновесие, позволяющее ему ходить и стоять на месте, и полетит его тело вниз, вперед, вслед за перевесившей неустойчивое равновесие головой.

Света внутри не было, но два окна и открытые настежь двери позволяли рассмотреть все. Петров ушел.

Добрынин осторожно открыл верхний гроссбук и будто бы отпрянул, испугавшись бесконечных цифр, заполнивших первую страницу этой книги учета.

Ваплахов подошел ближе к своему начальнику, остановился сбоку и тоже глянул на страницу. В глазах зарябило, запрыгало, и он зажмурился.

– Ладно! – вдруг выдохнул Добрынин и, усевшись на стул, окунулся с головой в первую страницу гроссбуха.

Было тихо и безветренно.

Ваплахову стало как-то не по себе, и он, шатаясь, вышел на открытый мороз, оставив народного контролера в задумчивом одиночестве.

А Добрынин тем временем, уже листая покрытые рябью цифр страницы, становился все серьезнее и серьезнее и уже начинал понемногу понимать смысл учета. На последней странице он внимательно изучил четыре столбика цифр и окончательно убедился в своей догадливости: над столбиками корявым почерком были написаны полуслова «бел.», «черн.» и «разн.», а затем, над последним красовалось полное, известное Добрынину по колхозному прошлому слово «итога».

Картина прояснилась, теперь надо было считать шкурки, но эта перспектива была не особенно радостна для народного контролера, уже чувствовавшего усталость собственной мысли. Голова все ниже и ниже наклонялась над последней исписанной цифрами страницей гроссбуха, пока попросту не легла на бумагу, и глаза сами по себе закрылись.

Но спал контролер недолго. Сперва проснулось решительное желание работать, а следом уже и глаза вновь открылись и, слегка сердясь на самого себя, встал Добрынин из-за стола, выглянул на улицу в поисках помощника своего, и, не найдя Ваплахова, вернулся внутрь и начал снимать со стенных крючков и с крючков потолочных связки белой пушнины. Снимал их и бросал на пол у стола, где не было так намусорено, как в других местах.

Когда все белые шкурки уже лежали на полу, присел он на корточки, и, вздохнув, принялся за счет. Собирал он их по десять, поднимался, делал шаг к столу и в том же гроссбухе на чистой странице делал карандашом палочку-отметку. Потом снова приседал и принимался за следующий десяток. Время шло незаметно. Пальцы в суставах немного побаливали и, конечно, руки уже чуть полиловели из-за мороза, но не обращал на это внимания Добрынин. На чистом листе гроссбуха палочки-отметки выстраивались в длинные линии, и, глядя на них, контролер радовался и как бы впадал в азарт еще больший, так как чувствовал он, что идет дело хорошо.

Когда все белые шкурки, в связках и так просто в россыпи, перекечевали в новую кучку, снова поднялся Добрынин на ноги. В пояснице что-то скрипнуло, но он с довольной и чуть усталой улыбкой на лице подошел к столу, присел на стул и стал считать палочки. Сначала хотел просто сосчитать их, но как только доходил он до конца первой строчки, сразу же забывал, сколько этих палочек было. И тогда он стал их перечеркивать карандашом по десять штук. Теперь дело пошло быстрее, и под конец осталось у него семь штук незачеркнутых, трех шкурок до последнего десятка не хватило. Он оглянулся, думая, что высмотрит три штучки где-нибудь, но не увидел и принялся считать десятки.

В конце концов вывел он не без труда присутствующее количество белых шкурок – 387 их было. Потом посмотрел на предыдущую страницу гроссбуха – там значилось в наличии 354 белых шкурки. «Главное, чтобы не было меньше!» – подумал Добрынин.

Отдохнув немного, принялся контролер за черные. Тут уж совсем быстро счет пошел, тем более, что черных шкурок было намного меньше.

154 их оказалось, и соответственно записал это число Добрынин на чистую страницу гроссбуха. Потом заглянул в предыдущую запись – там числилось 153.

После этого, решив освободить пол от пересчитанных шкурок, повесил Добрынин белые и черные шкурки на крючки, а те, что просто валялись по полу, не будучи увязанными в связки, затолкал ногой в дальний угол.

Теперь оставалось пересчитать «разн.», что, конечно, означало «разные» шкурки. Были они действительно разные и в цвете, и в размерах, и пришел Добрынин к выводу, что принадлежат они, кроме всего прочего, разным животным. Были тут и бурые, и серые шкурки, и огромная коричневая – должно быть, медвежья, и еще какие-то странные. Считать их было нелегко, но, слава Богу, места они занимали мало, а значит немного их было.

Пальцы загибались быстро: первый десяток – палочка, второй десяток – вторая палочка следом, третий десяток – еще одна...

Переложив большую, тоже, похоже, медвежью шкуру на кучу уже пересчитанных шкур, заметил Добрынин под ней стопку желтоватых шкурок правильной прямоугольной формы,

связанную кожаным шнурком. Взял в руки, желая просто пересчитать, не развязывая, однако увидел на отогнувшемся внутреннем уголке одной из них какие-то знаки. Удивился и, развязав шнурок, вытащил эту шкурку, развернул к себе внутренней стороной и обомлел – перед ним на пергаменте старой кожи ровненько строчка за строчкой чернели непонятные чужие письма – то ли буквы, то ли знаки какие-то. Взял контролер другие шкурки из этой стопки – и они, как страницы из одной книги, все были этими письменами исписаны. Забыл Добрынин о счете, поднялся с корточек, положил эти страницы-шкурки на стол и задумался. Задумался о грамотности, о большой сложности, какую сам испытал при изучении письменных букв русской азбуки, когда после работы занимался по вечерам в сельской школе с другими односельчанами на курсах по ликвидации безграмотности.

А время шло. Несмотря на холод, возникло желание съесть чего-нибудь.

Добрынин решил сперва дождаться возвращения помощника, а потом уже вернуться в свое временное жилище.

Чтобы не сидеть без дела, закончил он счет всех шкурок и сравнил полученное количество с предыдущей записью в грессбухе. Все было в порядке.

Но Ваплахов не появлялся.

Добрынин поплотнее запахнул свой рыжий кожаный пояс и затянул на поясе ремень, после чего вышел на мороз и огляделся по сторонам.

Уже немного темнело, видимо, наступал заполярный вечер, но народный контролер сумел разглядеть вдали возвращающегося неизвестно откуда Ваплахова. Подождал, пока тот подошел. Потом спросил:

– Где тебя носит?

Ваплахов выглядел взволнованно. Хмель, казалось, покинул его голову, и краски лица были свежи.

– Я с одной старухой местной говорил, – сказал он. – Не русский Петров! Она знает.

– Откуда она знает? – удивленно спросил Добрынин.

– Говорит – добрый очень, часто еду дарит...

– Ну ты, брат, даешь! – возмутился контролер. – Что ж, по-твоему, русский человек – злой?! А ведь сам хотел русским стать!

– Хотел... – кивнул урку-емец. – Но старуха сказала, были здесь раньше русские – ничего не дарили, все забирали... говорили «бурайсы!» и забирали...

Добрынин нахмурился. Стало ему неприятно на душе и в мыслях. Вспомнил, что и он это слово говорил на северном базаре – так его комсомолец Цыбульник научил... Хотя нет уже такого комсомольца на русской земле.

– Ладно, – неопределенно промычал контролер. – Тут я что-то странное нашел. Посмотреть надо.

И зашел Добрынин в открытые двери склада.

Внутри было темнее, чем снаружи, и понял контролер, что ничего не смогут они разобрать в таких сумерках.

– Вот что, – сказал он. – Возьмем эти шкуры туда, там при свете и поглядишь!

Захватив наново перевязанную кожаным шнурком пачку шкурок, закрыл Добрынин дверь склада, и потопали они по скрипящему старому снегу к главному строению города Бокай-гол.

В окнах этого строения горел свет, горел необычайно ярким желтым огнем. И доносилось откуда-то негромкое, но постоянное жужжание.

– Ну как там? – встретил их вопросом радист Петров.

Он стоял в передней комнате в странном цветастом халате, доходившем до щиколоток. В доме было тепло, видимо, протопил он недавно обе печки-буржуйки.

– Все в порядке, – ответил ему Добрынин, сбрасывая кожаный пояс из-за неожиданной теплоты.

– У нас всегда все в порядке, – улыбнулся Петров. – Чай еще горячий, есть будете?
Добрынин решительно кивнул.

Минут через пять они уже сидели за столом и ужинали. Добрынин с заметным удовольствием размазывал жирное желтое масло по толстому ломтю черного хлеба, присаливал, потом откусывал кусок побольше и запивал сладким чаем. Тут же на столе лежала соленая рыба, не знакомая народному контролеру и отличавшаяся красным цветом мяса. Петров, видимо, уже сытый, ничего не ел, только чай пил. Ваплахов жевал кусок красной рыбы и тоже пил чай, время от времени бросая напряженные взгляды на радиста.

– Теперь можете отдохнуть несколько дней! – говорил, попивая чай, Петров. – Ночь наступает, а ночи здесь длинные, знаете, наверно. Хотя эта ночь покороче будет... дней семь-восемь...

– А что это жужжит там? – спросил вдруг Добрынин, показывая глазами за стенку дома.

– А-а, динамо-машина! Электричество дает для радиостанции и для света. Да я выключу ее минут через пять. Зачем нам свет ночью?

Допив свой чай, Петров пожелал контролеру и его помощнику спокойной ночи и вышел.

– Ну, ты... посмотри, что тут написано! – Добрынин вскочил из-за стола и, вытащив из-под кровати стопку прямоугольных шкурок с непонятными письменами, протянул ее Ваплахову. Дмитрий развязал шнурок, взял в руки верхнюю «страницу». Рот его приоткрылся, лицо приобрело задумчивое выражение.

– Ну что там? – торопил его Добрынин.

– Очень трудно, – замотал головой урку-емец. – Это по-старинному написано... Надо этот язык вспомнить.

– Ну так вспоминай! – попросил народный контролер, лицо которого в этот момент выражало крайнюю степень нетерпения.

– Не могу так быстро.

– А ты себя по лбу ударь! – посоветовал Добрынин. – Очень помогает!

Урку-емец посмотрел на своего начальника, потом взял и на самом деле стукнул себя по лбу довольно сильно, отчего сам же и зажмурился.

Снова посмотрел на «страницу».

Глаза его раскрылись шире, и улыбка появилась на лице.

– Вспомнил? – спросил Добрынин.

– Одно слово вспомнил, вот оно! – Ваплахов ткнул пальцем в какой-то значок на кожаной странице. – Это значит «тайная подземная дорога»...

– Еще раз ударь! По лбу! – сказал ему Добрынин.

Ваплахов сосредоточился, отвел правую руку подальше и что было силы еще раз двинул себя самого.

И тут лампочка Ильича потеряла свою яркость, стала тухнуть, и в конце концов осталась видимой в темноте только рдеющая спираль ее, а также багровые, уже перегоревшие угли в бочке-буржуйке.

– Спокойной ночи! – долетел до них из другой комнаты голос радиста Петрова.

– Спокойной ночи! – ответил ему негромко огорченный Добрынин.

Когда глаза немного привыкли к темноте, поискал он взглядом светильник или свечу, но не нашел. Урку-емец тоже попробовал что-то сделать – поднес письмена к бочке-буржуйке, но угли не давали света, так что прочитать, что там дальше было написано, оказалось делом невозможным.

На всякий случай Добрынин забрал у Ваплахова шкурки, положил их в свой вещмешок, который тут же засунул обратно под кровать. Улегся, скрипнув пружинами. Спать не хотелось.

Ваплахов же наоборот, как только лег на кровать – почувствовал себя уютно и спокойно. Глаза закрылись.

Добрынину не спалось. Мысли его бегали, как в лихорадке, от одного предмета к другому, возвращаясь время от времени к этим загадочным письмам. Думал он также и о радисте Петрове, про которого местная старуха сказала, что «не русский он, потому что добрый очень». Обиделся контролер за русскую нацию. Откуда, думал он, эта старуха знать может, насколько добрые русские люди? И тут же подумал, что надо пойти к ней в гости и подарить ей что-нибудь, чтоб не говорила она больше подобных гадостей про русский народ.

Было тихо в комнате. Только Ваплахов иногда во сне переворачивался с боку на бок, что-то бормоча себе под нос.

Опустил ноги на пол Добрынин, встал, прошелся по комнате, прислушиваясь, не трещат ли под его ногами деревянные доски пола. Нет, не трещали они. Было тихо.

Остановился у бочки-буржуйки, присел на корточки, глянул на потухшие угли. Нашел тут же палочку, растормошил золу, и вынырнул оттуда еще живой багровый уголек. Металл бочки был теплый.

Время тянулось медленно. Медленно, но непрерывно. Все больше его оставалось в прошлом, перекачиваясь туда прожитыми часами, днями, неделями. Сколько уже времени прошло с тех пор, как покинул он свой дом, свою деревню? Год? Два?

Добрынин не помнил. Он не следил за временем, будучи полностью поглощенным мыслями о своей работе и самой работой, которая влекла его теперь больше, чем когда-то семья. Закономную ночную тишину прорезал вдруг непонятный звук.

Добрынин обернулся к окошку – там было по-прежнему темно.

Скрипнул железной сеткой Ваплахов, снова переворачиваясь с боку на бок.

Добрынин вернулся взглядом к багровому угольку, но тут снова неясный шум донесся с улицы, и, почувствовав тревогу, народный контролер поднялся на ноги.

Он вышел в прихожую дома, приоткрыл дверь и выглянул во двор.

Тут же яркое пятно света приковало к себе его взгляд. Какой-то мощный луч бил прямо в открытую дверь пушного склада, и в этом луче сновали какие-то люди.

Сердце народного контролера забилося часто, волнение охватило его, и поспешным движением руки он закрыл дверь, вернулся в комнату и разбудил Ваплахова.

– Вставай! Вставай! – говорил он. – Там склад грабят!

Пока урку-емец поднимался, Добрынин достал из вещмешка револьвер, одел кожух и затянул его на себе ремнем.

– Что стоишь! – рявкнул Добрынин на урку-емца. – Пошли!

Стараясь ступать как можно тише, они вышли на мороз.

– Может, Петрова разбудить? – остановившись, сам себя шепотом спросил Добрынин, но тут же сам себе ответил: – А что, сами не справимся?

Они пошли к яркому лучу света, бившему прямо в открытую дверь склада.

Приблизившись к месту, остановились.

Добрынин лихорадочно думал, что делать теперь: достать револьвер и всех арестовать или что-то другое? Но что другое? Что еще можно делать в такой ситуации?

– Иди, буди Петрова! Пусть возьмет ружье и идет ко мне, а я их пока арестую! – сказал наконец Ваплахову, и побежал Ваплахов назад к дому.

А Добрынин тем временем с револьвером в руке смело пошел к складу.

Однако ничего не происходило, в том смысле, что никто не заметил народного контролера. Несколько человек по-прежнему сновали на склад и обратно, и видно было теперь, что выносят они оттуда шкурки и грузят на какую-то не видимую в темноте машину, которая, кстати, и освещала своими фарами вход и внутренности склада.

Постояв совсем рядом с лучом, Добрынин набрал побольше воздуха в легкие и крикнул что было сил:

– Стой! Стрелять буду! Вы арестованы!

Люди остановились, стали оглядываться, и ясно было, что не видят они, кто это кричал. Подошел к ним, стоящим в луче, еще один человек, что-то прошептал, вышел из луча, и тут же появился в темноте еще один луч, но слабый и тоненький – от ручного фонарика. И запрыгал этот луч по сторонам, пока не остановился на лице Добрынина.

– Стрелять буду! – крикнул Добрынин и зажмурился, хоть и слабый был лучик, но в такой темноте слишком ярким оказался он для глаз.

Двое мужчин подошли к Добрынину.

Их узкие глаза пристально и недружелюбно посмотрели на него. Потом один сказал что-то другому на нерусском языке, и понял Добрынин всю глупость своего положения: конечно, они не поняли его приказа, они не поняли, что он их арестовывает, а значит, он и не может их арестовать.

И пока он думал об этом, сильная рука выхватила у него револьвер, и тут же двое узкоглазых мужчин отошли в сторону, и он остался один, один и без оружия.

«Что делать? Что делать?» – лихорадочно думал он.

Но было уже поздно об этом думать. Чьи-то сильные руки схватили его сзади за плечи, вывернули руки за спину, и он почувствовал, как затягивается на запястьях шершавая толстая веревка. Все это происходило в тишине, и люди, связывавшие его, тоже молчали и молча делали свое дело.

Еще оставалась надежда на Ваплахова и Петрова, если вернутся они вовремя с ружьем, но было тихо, и, казалось, никто не спешил на помощь народному контролеру.

Человек с фонариком подошел ближе и остановился рядом с Добрыниным; вместе с этим человеком к контролеру подошел еще один, пониже ростом, такой же узкоглазый. И этот малорослый вдруг дотронулся указательным пальцем до подбородка Добрынина и сказал:

– Дай документы, оружие!

«Сволочи!» – подумал Добрынин и насупился как бык, решив не разговаривать с ними вообще.

Малорослый, который был, по-видимому, переводчиком, полез своими руками народному контролеру за пазуху и стал шарить по карманам. Вытащил паспорт покойного коня Григория и какую-то мелочь. Мелочь бросил на снег, а паспорт раскрыл. Луч фонарика сполз на раскрытый документ, после чего малорослый что-то сказал на нерусском языке рядом стоящему человеку.

Дальше произошло нечто странное. Человек с фонариком рассердился, стал кричать на малорослого, потом достал пистолет и пристрелил переводчика. Тот ойкнул и повалился на белый снег.

Оглушенный выстрелом, Добрынин сам не заметил, как снова оказался один в темноте. Человек с фонариком куда-то ушел. Фары невидимой машины продолжали освещать вход в склад, но людей больше не было видно.

Хлопнула дверь в доме, и, обернувшись, Добрынин разглядел несколько человеческих фигур, шедших в его направлении. Обрадовался, думая, что это Петров и урку-емец спешат на выручку.

Однако уже через две-три минуты ожидание сменилось отчаянием.

– Петров – не русский человек! – выкрикнул, подойдя поближе, Ваплахов, и тут же он покачнулся и бухнулся лицом в снег.

– Помалкивай! – крикнул радист, и контролер сразу узнал его голос.

Ваплахов поднялся как-то неуклюже, и, присмотревшись, Добрынин понял, что и у его помощника связаны руки.

«Предательство!» – подумал он.

Через минуту Ваплахов стоял рядом с народным контролером.

– Я говорил, что он не русский! – негромко бормотал урку-емец, – а русский человек Добрынин не верил...

Подошел радист «Петров».

Вдруг в тишине прозвучал женский голос, сказавший что-то на нерусском языке.

И тут же «Петров» ответил в темноту на том же нерусском языке. И отошел в сторону.

– Что будем делать? – шепотом спросил Добрынин у своего помощника.

– Убежать надо, – ответил Ваплахов.

– А куда? – спросил народный контролер.

На этот вопрос урку-емец ответить не успел. Снова возник рядом луч фонарика, осветил лицо Добрынина и тут же перепрыгнул на лицо урку-емца. Подошли трое: человек с фонариком, «Петров» и узкоглазая девушка.

Добрынину захотелось сказать что-то гневное, чтобы показать им свое отношение, но на ум ничего не приходило, кроме простых ругательств.

– Товарищ Добрынин, нехорошо получилось! – оправдывающимся тоном произнес вдруг радист «Петров». – Я думал, что вы спали...

Зло взяло народного контролера.

– Сука! – рявкнул он в глаза радисту. – Родину продал!

Радист помрачнел.

– Моя родина – Япония, – сказал он. – И я ее так же люблю, как вы – Советский Союз...

Мы не враги. Мы – японские революционеры.

– Революционеры шкурки не воруют! – глядя прямо в глаза радисту, заявил Добрынин.

«Петров» тяжело вздохнул.

– Вам просто ничего не говорили... В Кремле об этом знают... – сбивчиво пытался говорить он. – У нас договор такой с Кремлем: мы берем пушнину в Японию, продаем, а на деньги покупаем оружие для будущей революции... Вот товарищ Такаэ – у нас старший, и он будет руководить восстанием. – «Петров» указал жестом на человека с фонариком.

Такаэ поклонился.

Почувствовав, что опасность миновала, Добрынин немного расслабился.

– А товарищ Тверин знает об этом? – спросил он, все еще сомневаясь в правдивости слов «Петрова».

– А кто это? – спросил радист.

– Ну... его старая фамилия – Калинин...

– А-а, нет, Калинин не знает, – ответил «Петров». – Старовойтов знает, Бережницкий знает, Петренко...

– А кто это? – удивился Добрынин, услышав неизвестные ему фамилии.

– Члены Политбюро и ЦК.

– А Волчанов знает? – строго спросил Добрынин.

– А кто это? – в свою очередь спросил радист.

– Кремлевский чекист...

– Должен знать, – радист кивнул головой. – Вам не холодно?

– Холодно, – ответил Добрынин.

– Тогда пойдемте все в дом, погреемся!

Вернулись в дом, где уже сидели около буржуйки несколько японцев. Радист развязал руки урку-емцу и Добрынину. Потом назвал всех японцев по имени, включая и девушку, которая при свете оказалась очень красивой, словно бы пришла из какой-то восточной сказки.

Добрынин долго смотрел на нее. «Петров» объяснил, что она дочь одного из министров и готова сражаться против своего отца, чтобы принести свет и счастье народу Японии. Звали ее Наоми. В ответ на взгляды Добрынина она прятала глаза, но не прятала стеснительную улыбку своего милого личика.

– А меня зовут Хироми Иосимура, – под конец отвлек внимание контролера радист «Петров».

Добрынин кивнул.

Урку-емец присел у буржуйки и растирал синие от мороза и веревки запястья.

Руководитель восстания, которого звали Такаэ, что-то объявил всем на японском языке, и лица присутствующих озарились улыбками.

– Сейчас будем пить саке за будущее Японии, – перевел Хироми-«Петров».

– А что такое «саке»? – поинтересовался Добрынин.

– Это теплая водка, – объяснил радист.

Добрынина передернуло.

Заметив это, Хироми сказал, что саке – национальный японский напиток и если Добрынин откажется – японские революционеры могут обидеться.

Добрынин тяжело вздохнул и кивнул Хироми. Вспомнился очень кстати рассказ о том, как Ленин был в гостях на Севере, рассказ об очень невкусном национальном супе. «Ленин мог, а я не могу?!» – сердито подумал Добрынин. И решил пить столько, сколько ему дадут.

Японцы мирно разговаривали о чем-то своем. Девушка по имени Наоми молчала, иногда бросая стеснительные взгляды на Добрынина. Народному контролеру было уже жарко из-за ее взглядов и своих мыслей о ней. Он скинул кофух, расстегнул две верхние пуговицы на гимнастерке, но все равно было жарко, и чтобы отвлечься, он попробовал подумать о чем-нибудь другом. И тут вспомнил, как главный японец пристрелил малорослого переводчика. Найдя глазами Хироми-«Петрова», Добрынин спросил его, за что убили переводчика. Перебросившись несколькими фразами с Такаэ, Хироми повернулся к контролеру и объяснил, что переводчика убили за неправильный перевод. За то, что он сказал, будто Добрынина зовут конь Григорий и что родился он в кремлевских конюшнях. И еще добавил Хироми, что они давно уже подозревали переводчика в неточном переводе.

Добрынин задумался. В общем-то, понял он, зазря они убили своего переводчика, ведь действительно в гимнастерке у него был паспорт покойного коня. Но решил Добрынин не говорить им об этом, чтобы не огорчать и не портить общее настроение, радостно-спокойное, которое уже захватило и его.

На печке-буржуйке стоял железный жбан. Хироми взял его в руки и, раздав всем по кружке, стал разливать саке.

Когда очередь дошла до Добрынина, народный контролер напрягся и, подождав, пока Хироми налил ему полкружки, залпом выпил национальный японский напиток. Конвульсия пробежала по его внутренностям, и как-то сразу бросило в жар. На лбу выступил холодный пот. Добрынину показалось, что все на него смотрят, и он сжался в комок, словно испуганный ежик.

Однако никто, кроме Наоми, на него не смотрел, но и она смотрела доброжелательно, словно сочувствовала.

Время шло. Было еще три тоста за будущее Японии. Потом Хироми подошел и присел на корточки рядом с контролером.

– Мы сейчас уезжаем! – сказал он.

– Куда? На чем? – удивился уже захмелевший контролер.

– Домой, в Японию. На аэросанях, а там на море нас рыбацкая шхуна ждет... Вернемся через месяц...

– Удачи! – едва шевеля усталым языком, произнес Добрынин.

И вдруг в его захмелевшем, замутненном разуме стрелой пронеслась тревожная мысль: «Они уезжают, а я остаюсь! Один, не считая урку-емца, в этом диком краю!»

И сразу отрезвев немного, схватил Добрынин радиста за руку, притянул к себе и зашептал:

– А мы, товарищ Петров?... мы куда?..

Радист дотронулся до плеча народного контролера.

– Я – не Петров, я Хироми Иосимура... но я ваш товарищ, не беспокойтесь! Местные жители дадут вам собачью упряжку и скажут, как выбраться к ближайшему городку!.. А нам пора! До свидания!

Ваплахов, будучи трезвым из-за того, что не пил sake, встал и проводил японских товарищей до аэросаней и даже подождал на морозе, пока завели они двигатель и умчались в северную ночь.

Вернувшись в дом, он заботливо перетащил лежавшего на полу начальника на кровать, накрыл его одеялом, а сам подбросил дров в бочку-буржуйку. Достал из ящика, стоявшего в углу комнаты, бутылку питьевого спирта.

Гулкий звук забившегося в металлической буржуйке огня заполнил комнату. Но Добрынин спал крепко.

Ваплахов уселся поудобнее у бочки-буржуйки, налил себе полкружки спирта, пригубил и задумался.

Заоконная ночь снова была тихой. Мысли перескочили с японцев на его собственный народ, который ушел куда-то по снегу в поисках счастья. Он вспомнил десятки и десятки следов босых ног на снегу, он вспомнил свое странное ощущение при виде этих следов. Нет, он не обрадовался тогда, поняв окончательно, что его народ жив, он не обрадовался, но, конечно, и не огорчился. Он почувствовал себя ненужным. Если бы он шел с ними – тогда другое дело. Трудности зимнего пути его наверняка не испугали бы, знай он, что идут они все вместе одной семьей к лучшему будущему. И тут же другая дерзкая мысль прозвучала в его голове: «А тебе нравилось быть человеком-народом! Тебе нравилось думать, что ты последний живой урку-емец, что ты единственный!»

Дмитрий пригубил еще.

И почувствовал, как слезы побежали по щекам.

У него еще недавно была мечта – стать русским, стать частью этого большого сильного народа. Он думал, что как только станет русским – сразу прибавится у него и силы, и мысли, и решительности. Но несмотря на всю доброту русских людей, они не разрешили ему стать русским, они не разрешили ему лететь с Добрыниным в Москву. Они взяли его на охоту, научили его играть в карты, хорошо кормили и поили его. Но на той же охоте они убили медведя, убили его неправильно и жестоко, тем самым нарушив вечные традиции взаимоотношений человека и природы. И из этого понял Ваплахов, что русские далеки от природы, далеки от леса, они не знают правил жизни, известных всем северным народам.

Добрынин застонал в пьяном сне, перевернулся с боку на бок, и одеяло, которым укрыл его урку-емец, соскользнуло на пол.

Ваплахов встал, поднял одеяло и снова накрыл им народного контролера.

«Хороший человек!» – подумал он о Добрынине.

Динамо-машина, стоявшая на улице за стеной дома, вдруг закашляла и затихла, и сразу после этого лампочка Ильича погасла, опустив на обитателей этой комнаты темноту, слегка подсвеченную уже уставшим пламенем, облизывавшим обгоревшие головни в печке-буржуйке.

Глава 3

Вечер выдался сухой, и это очень радовало Банова. Он еще раз вышел в коридор и поторопил уборщицу Петровну, напомнив, что ее дома ждут внуки.

– Ой, да такой пол тут грязный! – вздохнув, сказала она. – А в той классной комнате, так вообще – столетник покраснел, как вареный рак!

– Что? – переспросил Банов, посмотрев на Петровну пристально.

– Столетник покраснел! – сказала старушка. – Плохой, наверно!

Банов заглянул в классную комнату и действительно увидел на подоконнике высокий ярко-красный столетник. Посмотрев на него в недоумении, директор школы вернулся в коридор и сказал Петровне:

– Слышь? Отнеси его в медкабинет и поставь там на окно!

Полчаса спустя Банов с радостью попрощался с Петровной. Закрыв школу. Потом вернулся в кабинет и позвонил Карповичу.

– Слышь, приходи ко мне сейчас! – сказал ему Банов. – Погода сухая, чаю выпьем. Ты высоту любишь?

– Да.

– На крышу выйдем. Оттуда много видно!

– Ну хорошо, – сказал Карпович. – Через полчаса буду.

Не теряя времени, Банов поставил чайник на примус. Проверил, есть ли сахар. Достал кружки.

Часы показывали без четверти шесть. Небо было безоблачным и обещало звезды.

Банов встретил старого боевого товарища внизу. Закрыв за ним двери. На минутку зашли в кабинет за чайником, сахаром и кружками. Потом полезли на крышу.

Устроились на любимом месте Банова, там, где он сживал с Кларой Ройд – на самой верхотуре.

– Ну как там у тебя? – спросил директор школы.

– Ничего, – без особого энтузиазма ответил Карпович. – Только с поэтом поругался.

– С каким поэтом?

– С кремлевским поэтом. Живет у нас один, татарин, наверно: Бемьян Дебный...

– А чего поругался?

– Да ну! – Карпович махнул рукой. – Мелочь! По инструкции я должен весь рукописный мусор, собранный в Кремле, относить в мусорник НКВД, ну я и сделал, как положено, какая мне разница, что это за мусор! А этот Бемьян стихи свои растерял, говорит, они на подоконнике были, и их ветер вниз сдул. Ну так я и сказал ему, что пусть сам идет в чекистский мусорник и ищет, а он, сволочь, говорит, чтоб я сам туда шел и искал... Хрена ему!

– Правильно! – одобрил Банов. – Нечего!

На крыше было прохладно. Дул довольно сильный ветер, однако чистое безоблачное небо отливало глубокой синевой и кое-где уже проступали первые золотистые звезды.

Банов страшно любил такие сухие осенние вечера на крыше, и чем прохладнее и ветренее было, тем всегда вкуснее казался чай, и вместе с чайным теплом организм в такие моменты наполнялся непривычной, но очень приятной бодростью и силой. Эта сила как бы распирала Банова изнутри, и жадно смотрел он вниз, на вечерние пустынные переулки, смотрел по-охотничьи зорко, словно выглядывал врагов.

– Хороший чай, – отхлебнув из кружки, сказал Карпович.

Банов кивнул.

– Я всегда чай пью, – неопределенно, словно в никуда, сказал он. – Да, слышь, как там Кремлевский Мечтатель?

– Нормально. Я его сегодня утром видел. Сидит, греется на солнышке и мечтает вслух. Хотел его послушать, но не было времени...

Банов посмотрел на Карповича и понял, что он немного завидует этому человеку. Еще бы! С какой легкостью, словно бы о самых простых и обычных вещах, говорит он о том, что только сегодня утром видел Кремлевского Мечтателя, которого все давно считают умершим! Сколько тайн ему доступно!

– Вася! – снова заговорил Банов. – А можно как-нибудь сделать, чтобы и я его увидел? Хотя бы минутку на него посмотреть!

Карпович задумался.

Банов смотрел на него с напряженным ожиданием во взгляде.

– Есть у меня один земляк в охране, – произнес Карпович. – Попробую поговорить. Завтра он с утра, кажись... Завтра и поговорю, а ты мне вечером позвони!

Следующим вечером Банов позвонил Карповичу.

– Попробуем! – сказал старый боевой товарищ, и директор школы обрадовался. – Давай через два дня, в понедельник, в девять утра на Красной площади у Лобного места!

– Хорошо! – ответил Банов. – Я обязательно буду.

В понедельник, уже в восемь утра Банов прогуливался вокруг Лобного места. Еще в субботу он предупредил завуча Кушнеренко, что в понедельник пойдет в Кремль и может там немного задержаться. Кушнеренко, конечно, был поражен.

Людей в этот час на Красной площади почти не было. Воздух отличался утренней свежестью, да и вообще день обещал быть умеренно теплым и солнечным.

В полдевятого к директору школы подошел милиционер. Поинтересовался, что Банов делает на Красной площади.

– Товарища жду, он в девять придет, – ответил Банов.

– А что потом будете делать? – допытывался милиционер.

– Потом в Кремль пойдем.

Милиционер уважительно кивнул, потом ткнул рукой на Лобное место и сказал:

– А здесь вот головы рубили! – И, сожалеюще покачав головой, ушел на свой пост, как раз между Лобным местом и воротами.

К девяти со стороны ворот показался очень опрятно одетый человек, и, к своему удивлению, Банов узнал в этом человеке Карповича.

– Приветствую! – Карпович, подходя, махнул рукой. – Давно ждешь?

– Нет, – ответил Банов. – А что ты так одет?

На Карповиче был темно-синий костюм, причем пиджак сидел очень хорошо, как на члене Политбюро, а вот брюки чуть провисали, видно, были сшиты на человека раза в полтора толще Карповича.

– Да знаешь, выдали... все-таки Кремль... У нас электрик на час приедет, чтоб на столб залезть, починить провод – и то на этот час костюм выдадут! Здесь же много иностранцев бывает, члены ЦК...

Банов слушал и кивал. Конечно, было бы наверняка странно увидеть в Кремле обычно одетого невзрачного дворника с метлой!

– У меня и портфель есть кожаный! – добавил Карпович.

– А портфель зачем?

– Для рукописного мусора. Ну ладно, пошли!

И они, пройдя мимо постового милиционера, который приветливо им улыбнулся, вошли в кремлевские ворота.

– Ты только делай вид, что ты здесь работаешь! – попросил Карпович.

– А как это?

– Смотри себе под ноги, не разглядывай ничего... и улыбайся!

Банов кивнул и начал улыбаться себе под ноги.

Минуты четыре они шли по узкой бетонированной дорожке под стеной в сторону реки. Потом свернули к низенькому строению, спрятанному за голубыми елочками. Зашли в открытые двери.

Внутри пахло сыростью. Лампочка не горела.

– Подожди здесь! – попросил Карпович и скрылся в сырой темноте.

Минут пять его не было.

У Банова неприятно запершило в горле. Он чихнул и тут же услышал, как эхо, подхватившее звук, понесло его куда-то далеко-далеко. Стало страшно.

Минуты через две все стихло. Потом послышались шаги.

– Порядок! – произнес остановившийся возле Банова Карпович. – Как раз сейчас земляк заступает, так что можем медленно двигаться.

Карпович шагал в темноте твердо, словно знал каждый сантиметр этой странной подземной дорожки.

– А здесь можно свет включить? – поинтересовался Банов.

– Можно. Я обычно включаю, но... вдруг кто-то навстречу идет – тебя увидит, тогда нам несдобровать. Осторожно, сейчас ступеньки будут!

Банов остановился, перевел дух и сделал осторожный шаг вперед. Нашел первую ступеньку и начал спускаться. Карпович был уже где-то внизу.

Рядом вдруг раздался грохот, и земля под ногами Банова задрожала. Он присел от неожиданности и дотронулся ладонями до мокрого бетона ступенек.

– Карпович! – позвал он сдавленным голосом.

– Что? – донеслось из темноты.

– Что это за грохот?

– Подземный поезд испытывают! Метро называется. Скоро можно будет под всей Москвой ездить.

Сново стало тихо.

Под ногами у Банова хлюпнула вода.

– Уже близко! – сказал Карпович. – Сейчас почтовый лифт будет, на нем спустимся!

Из темноты проклюнулись четыре красные лампочки, и на их тускловатом фоне появилась фигура Карповича.

Банов подошел и тоже остановился.

Карпович следил за стрелками своих карманных часов, приставив их к одной из лампочек.

– Сейчас должно щелкнуть! – загадочно произнес он.

Где-то сверху действительно что-то щелкнуло, и тут же послышалось нарастающее жужжание.

– Ну, – напряженно выдохнул Карпович. – Приготовься!

Небольшая, полтора метра на метр, освещенная коробка почтового лифта медленно ползла вниз. Ее яркий свет осветил вдруг Карповича, Банова, весь темный коридор, которым они шли.

– Давай! – скомандовал внезапно Карпович и, открыв дверцу, прыгнул в эту коробку, на лету сворачиваясь калачиком.

Банов тоже прыгнул, но не успел свернуться – да просто и не подумал об этом – и тут же больно ударился головой о железную стенку коробки. Пока тер шишку на голове, почувствовал, что ноги его как-то сами по себе поднимаются.

– Прижми колени к себе! – крикнул Карпович, и тут же сам приподнялся и с силой дернул ноги Банова на себя.

Банова прошиб холодный пот, когда он увидел, что буквально через секунду то пространство, где только что были его ноги, исчезло, а вместо него появилась бетонная стена, и зазор между ней и кабиной почтового лифта был такой мизерный, что иногда они соприкасались, и неприятный скрежет заставлял морщиться.

Банов, немного успокоившись, обратил внимание, что сидят они с Карповичем на письмах и посылках.

– Там ничего не разобьется? – спросил он старого боевого товарища, указав взглядом на небольшие пакеты, которые уже выглядели довольно помятыми.

– Нет!

Директор подвинулся, устроился на боку и подложил себе под голову один из пакетов. Внутри было что-то мягкое. Он лежал, поджав ноги, и смотрел на россыпь писем, пакетов и посылок. На каждом из отправок стоял приблизительно один и тот же адрес, написанный разными руками, но почти все почерки казались детскими, хотя Банов знал, что если безграмотный старик вдруг научится писать, то и его почерк будет похож на детский. На всех отправлениях стояло: «Москва, Кремль», а дальнейшее выглядело разнообразнее. Тут было и «Вождю мирового пролетариата», и «Ильичу», и «Владимиру Ильичу», и что-то странное, не совсем по-русски написанное, но потом чьей-то рукой перечеркнутое и той же рукой – «В. И. Ленину». Были и явно заграничные письма с красивыми марками и штемпелями.

– И что? Каждый день столько писем? – спросил Банов.

– Иногда раза в два больше, – ответил Карпович. – А бывают дни, когда только посылки.

Банов кивнул. Лежать было все-таки неудобно, и согнутый позвоночник уже ныл. Хотелось чаю.

– Долго еще? – спросил Банов.

Карпович посмотрел на свои часы.

– Двенадцать минут, – ответил он.

– Это что, так глубоко?! – удивился директор школы.

– А ты думал!

Банов в удивлении покачал головой. От нечего делать взял в руки одно письмо, посмотрел на обратный адрес: «Вологда, 5-й тупик Второго интернационала, Волошук Григорий Степанович».

– И он что, все это читает? – спросил Банов.

– Конечно! Он всегда с нетерпением почты ждет. Бывает, лифт ломается, застрянет тут на денек, почта опоздает, так он потом неделю сам не свой, ворчит, нервничает.

Банова передернуло. Он представил себе, что лифт вот сейчас застрянет и будут они тут сидеть под землей неизвестно сколько дней!

Но лифт медленно полз вниз.

– Сколько еще ехать? – нетерпеливо спросил Банов.

– Три минуты, – ответил Карпович. – Ты, главное, молчи там, что бы ни происходило. Так просто не говори. Земляк на контроле знает, а остальные будут думать, что ты мой помощник. Добро?

Банов кивнул.

Наконец почтовый лифт въехал в пространство большой комнаты. Сразу стало легче дышать. В комнате было светло.

Карпович дернул ручку дверцы на себя, и дверца открылась.

Выбравшись из лифта, Банов разогнулся, выровнял спину. Посмотрел по сторонам и увидел две двери.

Карпович пытался разглядеть ладонями помятые в лифте брюки. Лицо его выражало неудовольствие.

– А-а, ладно! – он махнул рукой.

Потом подошел к стене и нажал черную кнопку, над которой было написано: «Вызов». В комнату вошел пожилой мужчина в темно-синем костюме, таком же, какой был и на Карповиче.

– Земляк! – шепнул Карпович Банову.

Мужчина подошел, за руку поздоровался с кремлевским дворником, пристально посмотрел на директора школы, но потом кивнул ему вполне дружелюбно.

– Опись? – спросил он у Карповича.

Тот достал из внутреннего кармана пиджака свернутую в несколько раз бумажку, протянул земляку.

– Давайте считать! – сказал земляк. – Сначала посылки!

Банов понял свою задачу и подавал из почтового лифта посылки Карповичу, который в свою очередь складывал их на полу у ног земляка. А земляк их считал.

– Семнадцать, – произнес земляк, когда все посылки лежали уже перед ним. Потом он заглянул в бумажку и удовлетворенно кивнул. – Бандеролей нет. Давай письма.

С письмами дело затянулось. Банов отсчитывал по десять штук, передавал их Карповичу, который тоже проверял счет и передавал их дальше в руки земляку. Земляк их тоже пересчитывал и складывал аккуратно стопочками на полу.

Процедура заняла не меньше получаса.

– Двести девятнадцать... – произнес земляк, пересчитав последнюю стопочку. Заглянул в бумажку: – Двести двадцать!

И тут же вопросительно уставился на Карповича.

Карпович обернулся на Банова.

Банов нагнулся, заглянул внимательно в коробку почтового лифта, но там было пусто.

Молчание длилось минуты три.

Земляк, пожевав в раздумье губы, отошел к стене, открыл маленькую дверцу и снял трубку с находившегося в нише телефона.

– Алло! Дайте верх! – произнес он отрывисто в трубку. – Алло! Верх! Семыч? Ты? Проверь погрузочную площадку лифта. Одно письмо отсутствует... Жду...

После этого «жду» молчание продолжилось.

Банову стало холодно; возникли нехорошие предчувствия, и он тяжело вздохнул.

Карпович обкусывал ноготь большого пальца правой руки.

Земляк вдруг прижал трубку плотнее к уху, и лицо его словно налилось краской – видно, молчание на том конце провода прекратилось.

Он просто слушал и кивал головой, словно это было видно там наверху, и вот в какой-то момент громкий вздох облегчения вырвался из его легких, он посмотрел усталым взглядом на Карповича и, едва улыбнувшись, кивнул ему.

Напряжение отпустило Банова.

– Нормально, – сказал земляк, опустив трубку на аппарат и защелкнув дверцу телефонной ниши. – Волчанов взял одно письмо! Сволочь! – последнее слово земляк прошептал, видимо, для себя. – Хоть бы в описи отметил! Берите мешки и шагайте!

Банов не знал, где взять мешки. Он посмотрел по сторонам, но ничего не увидел, однако Карпович уже открывал встроенный в стену шкаф и вытащил оттуда два полотняных мешка.

В один положили посылки, в другой – письма.

– Пошли! – сказал Карпович и, забросив мешок с посылками на плечо, направился к левой двери.

За дверью начинался длинный, хорошо освещенный коридор.

Они прошли мимо двух или трех дверей, свернули налево, опустились вниз по ступенькам.

Впереди снова были двери.

– Сейчас зайдем, – прошептал Карпович. – Кивнешь постовому, говорить буду я.

За дверью стоял человек лет тридцати пяти, уже седой, худощавый, в военной форме, но без петлиц.

Он настороженно глянул на двоих вошедших.

– Почта! – сказал Карпович и чуть повернулся, чтобы виден был мешок с посылками.

Постовой сделал шаг к Карповичу, потрогал рукой мешок – пощупал посылки. Потом шагнул к Банову.

– Там письма, – произнес Карпович, глядя в спину постовому военному.

Военный кивнул.

– Давай! – позвал Карпович Банова, и они подошли к другим дверям, за которыми светило солнце.

Банов ошарашенно посмотрел вверх на небо, на солнце. Потом обернулся на здание, из которого они только что вышли, – обычный двухэтажный домик, стены покрашены в мирный зеленый цвет.

– Не удивляйся! – прошипел Карпович, искоса наблюдая за своим старым боевым товарищем. – На нас смотрят!

Банов взял себя в руки, но все-таки покосился по сторонам, стараясь увидеть, кто на них смотрит. Но никого не увидел.

– Пошли! – прошептал Карпович, и они ступили на тропинку, обычную луговую тропинку, хорошо протоптанную, извилистую, напоминающую что-то из детства.

Палило солнце, на лугу среди зелени желтели пятна одуванчиков. Впереди показалась березовая роща.

– Это что, все под землей? – прошептал Банов шедшему впереди Карповичу.

– Под Кремлем! – тоже шепотом ответил он.

За березовой рощей показалась старая дубрава, чуть дальше росли молодые ели.

Под ближним к тропинке дубом Банов заметил большущий белый гриб. Захотелось подойти, срезать, но директор школы быстро подавил свои желания. Он с интересом смотрел вперед.

Тропинка вывела к узенькой речушке, через которую был переброшен деревянный мостик. Дальше начинались заросли орешника.

Хоть и нельзя было назвать мешок с письмами тяжелым, но руки у Банова уже онемели.

– Далеко еще? – спросил он шепотом.

Карпович молча мотнул головой, мол, нет, недалеко.

Проходя через орешник, Банов заметил неподвижно стоящих в кустарнике двух военных постовых.

Впереди показались невысокие холмы.

– Почти пришли! – прошептал Карпович.

Они поднялись на вершину первого холма. Пространство, открывающееся с этой высоты, было удивительно красивым и в своей красоте неправдоподобным. Банов не верил своим глазам: голубые горизонты, с одной стороны – молодой лес, с другой – луга, холмы. И тут на другом склоне холма он увидел шалашик и рядом с шалашиком он увидел человека, лицо которого показалось страшно знакомым.

«Не может быть! – подумал Банов. – Не может этого быть!»

Когда он услышал от Карповича о том, что Кремлевский Мечтатель жив, было как-то легко верить словам старого боевого товарища. Да и слово «жив» звучало просто и понятно, но тут, теперь, когда он своими глазами видел сидевшего на солнышке у шалашика Кремлевского Мечтателя, одетого в коричневый костюм, точнее в брюки и жилетку от коричневого костюма, под жилеткой была голубая рубашка с расстегнутым воротом, – все это казалось чем-

то невероятным, не говоря уже об этом мучительном спуске в почтовом лифте. Как все это объяснить, Банов не знал.

– Давай подойдем, отдадим почту! – прошептал Карпович.

Идти следом за Карповичем к Кремлевскому Мечтателю Банову было боязно. «Как же это он жив?!» – терзался мыслью директор школы.

Остановились у шалашика. Банов выглянул из-за плеча Карповича и встретился взглядом с Кремлевским Мечтателем. Сразу захотелось снова спрятаться за коренастую фигуру Карповича, но взгляд, добрый прищуренный взгляд Кремлевского Мечтателя словно приковал Банова к себе, и он застыл, глядя в глаза человеку, которого знал весь мир.

– А, почта?! – радостно произнес Кремлевский Мечтатель. – Ну-ка, посмотрим!

Карпович опустил перед ним мешок с посылками. Банов подошел, бережно опустил свой мешок рядышком.

– А газеты? Газеты есть сегодня? – поинтересовался Кремлевский Мечтатель.

– Не передавали, – с сожалением произнес Карпович.

– Ну ладно, – кивнул Мечтатель. – Вы сейчас наверх?

– Да, – ответил Карпович.

– Возьмите, я тут пару писем написал...

Карпович взял из рук Кремлевского Мечтателя несколько конвертов.

– А вы. – Кремлевский мечтатель пристально посмотрел на Банова. – Я вас раньше не видел?! Вы...

– Мой помощник!.. – скороговоркой пояснил Карпович.

– А-а, – кивнул Мечтатель. – Ну ладно!

– До свидания, – попрощался с Мечтателем Карпович.

– Да, да. До свидания, голубчики! – произнес, не поднимаясь с теплой, прогретой солнцем земли, Кремлевский Мечтатель.

Банов развернулся и зашагал в обратном направлении, но тут же услышал за спиной недовольный шепот Карповича:

– Куда? Куда пошел! Стой!

Директор школы остановился и обернулся.

Карпович показывал рукой совсем в другую сторону.

Банов был в недоумении, ему казалось, что он запомнил дорогу, по которой они пришли сюда.

– Мы пойдем другим путем! – настойчиво прошептал Карпович и еще раз малозаметным жестом показал направление.

Банову ничего не оставалось, как идти следом за старым боевым товарищем.

Впереди лежал холм примерно такой же высоты, как и тот, на склоне которого жил Кремлевский Мечтатель.

Дворник и директор школы спустились вниз, осторожно переступили через узкое топкое место, разделявшее основания холмов – видно, там протекал маленький ручей. Поднялись на вершину следующего холма.

– Садись! – приказал Карпович и сам присел на корточки.

Банов сел на траву.

– Вот здесь побудем пока, – сказал Карпович. – Отсюда хорошо видно.

– Что видно? – переспросил Банов.

Вместо ответа Карпович достал из кармана брюк большой полевой бинокль, поднес его к глазам, покрутил, наводя резкость.

«Так вот почему у него штаны так провисали!» – понял Банов, посмотрев на массивные окуляры полевого бинокля.

– Держи! – Карпович протянул бинокль товарищу.

Банов посмотрел в него и тут же отвел в сторону от глаз – было слишком непривычно это многократное увеличение предметов, а тем более – внезапно приблизившееся лицо человека, жившего на склоне соседнего холма.

Передохнув, Банов еще раз посмотрел в бинокль, будучи уже спокойнее и, если можно так сказать, уравновешеннее. Он увидел, как Кремлевский Мечтатель читает письма, шевеля губами и многообразно улыбаясь, то с хитрецей, то по-детски искренне и радостно. Читал он быстро, просто просматривая одно письмо за другим. Вспомнил тут Банов, что кто-то из очень старых большевиков, выступавших в его школе, рассказывал детям, что вождь только посмотрит на страницу и тут же ее может пересказать, причем на нескольких языках.

«Значит, правда!» – подумал Банов и тут же заметил, как лицо Кремлевского Мечтателя стало чрезвычайно серьезным.

Казалось, Кремлевский Мечтатель прочитал то письмо несколько раз, прежде чем отложил его в сторону, достал ручку, чернильницу и бумагу и стал что-то быстро строчить.

«Ответ!» – догадался Банов.

Дописав, Кремлевский Мечтатель успокоился, почитал еще десятка два писем, остальные, видимо, оставил на потом. Принялся за посылки. Распечатал одну и вытащил из посылочного ящика какую-то ткань, стал ее щупать пальцами, гладить ее.

– Сейчас плакать будет! – сказал вдруг Карпович.

Банов непонимающе глянул на своего товарища, но тот махнул рукой.

– Смотри-смотри, не отвлекайся! – сказал он.

Банов снова поднес бинокль к глазам.

Кремлевский Мечтатель поднялся на ноги, ткань в его руках развернулась и оказалась пиджаком. Он попробовал надеть его, но пиджак был огромного размера и доходил до колен, Мечтатель нагнулся, взял в руки брюки от костюма, и тут Банов заметил, как по щекам Кремлевского Мечтателя побежали слезы. Он не стал примерять брюки, и так было видно, что сшиты они на человека, который должен быть раза в два выше, чем Мечтатель. Но разве такие бывают?!

– Плачет? – спросил Карпович.

Банов кивнул, продолжая наблюдать.

Кремлевский Мечтатель распечатал другие посылки, и, что удивительно, в каждой из них было по костюму, по хорошему, добротному, но очень большому костюму.

Мечтатель попробовал примерить еще пару пиджаков, но особого смысла в этом не было. Размером эти пиджаки больше напоминали длинное осеннее пальто.

Мечтатель плакал.

Банов смотрел на него и чувствовал жалость к этому человеку.

– Через пять минут будет дождь! – предупредил Карпович, посмотрев на часы.

– Откуда ты знаешь? – удивился Банов.

– Так положено. Здесь всегда в полвторого дождь, – объяснил Карпович. – Сейчас ему привезут обед, а когда пойдет дождь, он спрячется в шалаш и будет кушать.

Банов снова навел бинокль на Кремлевского Мечтателя.

Из-за шалашика показался солдат с трехэтажным обеденным судком в руке. Он поздоровался с Кремлевским Мечтателем, занес судок в шалашик. Вернулся к Мечтателю и стал собирать с травы брошенные костюмы, складывать их в полотняный мешок. Собрав костюмы, он положил в тот же мешок уже прочитанные письма. Потом оглянулся по сторонам, проверяя, не наблюдает ли за ним кто-нибудь, и, никого не увидев, протянул Кремлевскому Мечтателю руку на прощанье.

Мечтатель перестал плакать, поднялся, что-то сказал солдату и пожал его руку.

Солдат забросил мешок на плечо и, счастливо улыбаясь, скрылся за шалашиком.

Первые капли дождя упали на землю.

Банов увидел, как Кремлевский Мечтатель озабоченно глянул вверх, на недавно синее небо. Поднялся и забежал в свое жилище.

Капли зачастили. Одна упала прямо на нос директору школы.

– Пошли! – заторопился Карпович. – Хватит на сегодня.

– А можно будет еще прийти? – спросил Банов, возвращая товарищу бинокль.

– Посмотрим, как будет... – ответил Карпович.

Минут пятнадцать они шли под дождем по траве, пока не вышли на уже знакомую тропинку, которая вывела их обратно к двухэтажному зданию.

– А почему этот солдат забрал у него письма? – спросил Банов.

– Так положено, – ответил Карпович. – Все письма потом идут в Институт марксизма-ленинизма и там вроде как изучаются, ведь это не простые письма!

Банов понимающе кивнул.

Вошли в уже знакомое здание. И тут же за дверью нос к носу столкнулись с военным постовым.

Постовой безразлично глянул на них и ни слова не сказал.

Снова прошли коридором и в конце концов оказались в той самой комнате, куда они попали, выбравшись из почтового лифта.

В комнате было пусто, видно, смена земляка Карповича окончилась.

Снова забрались в почтовый лифт. Карпович защелкнул дверцу и нажал какую-то кнопку внутри.

Лифт медленно пополз вверх.

– Через двадцать семь минут будем выпрыгивать! – предупредил Карпович, посмотрев на свои часы.

Время тянулось невыносимо медленно. Свет от мощной лампочки, висевшей в лифте, резал глаза.

Банов пытался сесть так, чтобы быть к лампочке спиной, но это не получалось.

– Через минуту прыгаем! – предупредил Карпович.

В узкий колодец шахты лифта ворвался вдруг поток затхлого воздуха.

Карпович рванул дверцу на себя и тут же, оттолкнувшись ногами от задней стенки, выкатился в темное пятно начинающегося подземного коридора. Банов едва успел прыгнуть за ним. Еще лежа на холодном бетоне возле шахты, он обернулся. Лифта уже не было видно, только уши услышали удаляющееся жужжание.

Карпович вывел Банова наверх и даже проводил до ворот, где они попрощались.

– Звони! – сказал напоследок старый боевой товарищ.

Директор школы еще минут пять стоял, приходя в себя.

Усталость огромной тяжестью навалилась на его плечи. Хотелось где-нибудь присесть и отдохнуть, но надо было идти, надо было возвращаться в школу.

И Банов пошел.

Через пять минут он наткнулся на плотную очередь в Мавзолей.

Остановился, внимательно посмотрел на лица стоявших в этой очереди людей и задумался. Задумался глубоко и решил, что обязательно надо ему тоже попасть туда, в Мавзолей, чтобы своими глазами увидеть...

Пошел искать конец очереди. Минут через двадцать нашел и стал за крайним гражданином, одетым в серое драповое пальто. И тут вспомнил о школе.

– Гражданин! – обратился Банов к впереди стоящему мужчине. – Вы не знаете, сколько тут стоять надо?

Мужчина в сером драповом пальто обернулся.

– Если все будет нормально, то завтра к вечеру попадем, – сказал он.

– Значит, до завтра надо стоять?! – вырвалось у удивленного директора школы.

Мужчина заинтересованно глянул на Банова.

– А вы что, в первый раз сюда пришли? – спросил он и тут же, не дожидаясь ответа, продолжил: – Давайте договоримся! Будем стоять вместе по системе дежурств. Я сегодня до полуночи, потом вы до семи утра, потом снова я до трех...

– Хорошо, – Банов кивнул. – Так я могу сейчас идти, значит?

– Да, – подтвердил мужчина. – Но к двенадцати вы должны вернуться. Очередь к тому времени продвинется, найдете меня возле третьего или второго столба, вон там, возле поворота...

Банов посмотрел в нужном направлении, увидел, где очередь поворачивала за угол, отсчитал три столба и, запомнив примерное место встречи, кивнул.

В школе никого, кроме Петровны, не было. Петровна домывала полы первого этажа. Сегодня она была очень довольна своей работой. Никто ее не подгонял, никто не выпроваживал ее из школы, и она успела вымыть не только полы, но и подоконники, что ей удавалось чрезвычайно редко.

– Здравствуйте, Василь Васильич! – улыбнулась она, увидев в дверях Банова. – Как здоровьице?

– Хорошо, хорошо, – сказал Банов. – Вы уж не задерживайтесь, внуки, небось, ждут?

– Иду, иду уже! – Петровна закивала седой головой.

Банов постоял над ней минуты три, пока она не собрала свои вещи и не вышла на улицу.

Щелкнул замок – двери в школу были закрыты, – и Банов, сунув длинный ключ в карман брюк, поднялся на второй этаж.

На столе в кабинете лежала телефонограмма из Наркомпроса.

«Передал дежурный Бутенко, принял завуч Кушнеренко», – прочитал Банов. Поставил чайник, сел за стол и взял телефонограмму в руки.

«19 октября в 11.00 утра быть в Кремлевском Дворце Съездов. При себе иметь несколько сдвоенных листов бумаги, ручку, бутерброды для перерыва. Состоится собрание директоров школ Москвы и Московской области, после чего все директора будут писать сочинение на тему: «Что изменилось в СССР за последние десять лет».

– А что изменилось? – спросил сам себя Банов, дочитав телефонограмму.

Пока он искал ответ на вопрос, заболела голова.

Потом вскипел чайник.

К двенадцати надо не забыть вернуться в очередь.

Банов снял телефонную трубку, накрутил номер Ройдов.

– Алло? – прозвучал женский голос на другом конце провода.

– Алло, Клара?

– Да. Товарищ Банов? Где вы пропадали?

– Много работы... Очень много работы... – ответил директор школы. – Как Роберт?

– Хорошо, товарищ Банов. Можно, я к вам сейчас приду? На улице сухо...

Банов тяжело вздохнул. Ему хотелось побыть одному, но, кажется, это было уже нереально.

– Приходите! – сказал он.

Через полчаса Банов и Клара сидели на крыше и пили чай.

Уже вечерело.

– Вы такой взволнованный сегодня! – проницательно заметила Клара. – Что-то произошло?

– Да, – начал было говорить Банов, но тут же замолк, поняв, что не имеет права рассказывать об увиденном, особенно женщине. Но все-таки хотелось как-то поделиться новостью, и он осторожно, почти шепотом сказал: – Клара, он жив!

– Кто? – спросила Клара.

– Он... Кремлевский Мечтатель... ну, который жил, жив и будет жить...
Глаза Клары широко раскрылись.

– Как?! – воскликнула она.

– Я только прошу вас никому об этом не говорить... Я сам его видел сегодня... в бинокль...

Что-то заклокотало в горле Банова, словно он захлебнулся словами.

– Где вы его видели?

Директор школы только отрицательно замотал головой, не добавив к сказанному ни единого слова.

Допили чай и уже спускались через слуховое окошко, когда Банову стало неприятно, показалось, что он обидел Клару, и тогда в темноте чердака он обнял ее, прижал к себе и произнес:

– Может быть, мы вместе пойдем к нему...

Когда Клара ушла, Банов глянул на часы. Было около одиннадцати.

Через час надо было быть в очереди.

Мужчину в сером драповом пальто он нашел без труда. Очередь к полуночи продвинулась почти до поворота.

Усталость. Усталость. Усталость.

Банову хотелось спать, слипались глаза.

– Я вам утром чаю принесу, – пообещал мужчина в драповом пальто. – У меня термос есть!

Банов запомнил свое место – впереди теперь стоял старик с длинной черной бородой, позади – несколько крестьян.

«Попробую дремать стоя», – решил директор школы.

Хорошо, что ночью очередь не двигалась.

В конце концов Банов взял пример с крестьян, тех, что были за ним, и тоже, как они, уселся прямо на тротуар, прижав к себе колени, обнял их и так вот задремал.

Когда очнулся, услышал за спиной разговор.

– А если это он? – говорил кто-то из крестьян. – Как узнаешь?

– Та не, оно видно должно быть... Я с собой старую газету взял!

– Покажь!

– Не, она далеко, чего зря вытаскивать?

Банов обернулся, и тут же крестьяне замолкли, уставившись на него с опаской.

Наступало утро. Сумрак начинал рассеиваться. Но фонари еще горели.

Директор школы посмотрел на часы, висевшие на ближнем столбе.

Двадцать минут седьмого.

Через сорок минут должен прийти мужчина в сером драповом пальто и принести чаю.

Сорок минут пролетели быстро. На самом деле мужчина пришел даже раньше, без пяти семь. И принес он не только чай, но и бутерброд с салом, так что Банов смог и позавтракать.

– Ну идите, отдохните! – говорил мужчина жующему соседу по очереди. – А к трем подходите, может, к тому времени совсем близко будем, тогда вместе постоим!

Около пяти часов пополудни Банов уже вплотную приблизился ко входу в Мавзолей. Крестьяне, стоявшие за ним, напряженно молчали. Это немного радовало директора школы, уставшего от их бестолковых споров, в которых чаще всего звучали две фразы: «Он!» и «Не он!».

Мужчина в драповом пальто, стоящий впереди, тоже молчал. Где-то в полчетвертого ему стало плохо, и кто-то из соседей по очереди поделился с ним сердечными таблетками. Теперь он вроде чувствовал себя получше, но был страшно бледен.

Очередь двигалась едва заметно, но движение это отличалось постоянством.

Вот уже и мраморный порог. И ступенька.

Банов горел от нетерпения увидеть вождя.

Крестьяне за спиной снова зашушукались, но тут их кто-то одернул.

Медленно поворачивала очередь направо. Вот еще полторы ступни, и он увидит... Но нет, там был еще один поворот.

Наконец Банов увидел его. Он лежал под стеклом, желтый, словно сделанный из церковного парафина.

Медленно плывя мимо, директор школы нагнулся к лежащему под стеклом и внимательно посмотрел на его лицо. Что-то там показалось подозрительным Банову, и он успел еще раз понизе нагнуться – и действительно, показалось ему, что увидел он едва заметные трещинки, какие случаются иногда на старых глиняных горшках.

– Ненастоящий! – прошептал сам себе Банов, и тут же словно полная тишина окружила его.

Он испуганно оглянулся – крестьяне, замерев и выпучив глаза, смотрели на него. Банов посмотрел вперед, но мужчина в драповом пальто, а впереди него и вся очередь, уже выходили из этой комнаты, а значит они не услышали по небрежности произнесенное слово.

– Ненастоящий? – шепотом переспросил один из крестьян, показывая взглядом на лежащего под стеклом.

Отступать было некуда, да и был Банов уверен в своей правоте.

– Нет, – подтвердил он шепотом. – Ненастоящий.

Лица крестьян просветлели. Угрюмость и напряжение исчезли, один из них даже улыбнулся.

Банов поспешил догонять очередь.

Крестьяне отстали.

Мужчину в сером драповом пальто он догнал уже на булыжнике Красной площади. Собственно, очереди там уже и не было, люди, выходя из Мавзолея, как бы сосредоточивались на себе и расходились, рассыпались, и каждый шел в одиночестве, думая о чем-то сокровенном, или, может быть, это только так казалось.

Банов тоже шел в одиночестве, шел медленно, и в голове его крутилось одно-единственное слово: «НЕ-НА-СТО-Я-ЩИЙ!...»

Дней пять спустя наступил серый рассвет. К этому времени у Добрынина и урку-емца кончились дрова и осталась только одна бутылка спирта.

Несколько дней полной темноты оказались серьезным испытанием для народного контролера. Сначала он пытался что-то сделать, трощил оставшиеся дрова, желая вновь изобрести древнюю лучину, но ничего не получалось, а щепки сгорали во мгновение ока и ничего, кроме самих себя, не освещали. Запустить динамо-машину ни Добрынин, ни Ваплахов даже не пытались, были они в технике людьми темными и оба чувствовали смешанные страх и уважение по отношению к любой механике, а тем более к такой, которая рождала электричество.

Но вот засерело за окном, рассеялась темнота, и в холодной тишине дома, согреваемые только выигранным в карты у военных спиртом, обрадовались контролер и урку-емец, и оба подошли к окну.

– Ну вот, выжили-таки, – вздохнув, сказал осипшим голосом Добрынин. – Теперь можно и в дорогу собираться.

Ваплахов кивнул.

– К старухе пойдем? – спросил Добрынин, припомнив одновременно, что говорила эта старуха о русском народе.

– Надо пойти, – наконец нарушил молчание Ваплахов. – Собак даст.

– Ну хорошо, – произнес народный контролер, как бы успокаивая самого себя. И тут же задумался он о том, что надо бы старухе что-то подарить от имени русского народа. Но как ни задумывался, а ничего придумать не мог. Полез он в свой вещмешок, нашел там пачку обрешанных кожаных страниц с древними письменами, книжки, но ничего такого, что сгодились бы для подарка, оттуда не выудил.

– Я к этому загляну! – сказал неопределенно Добрынин и пошел в комнату радиста «Петрова».

Комната была раза в два меньше той, в которой они жили. На специальном столике громоздились странные железные аппараты, составлявшие радиостанцию. Тут же справа стоял комодик, а в углу – тумбочка. Вместо кровати в комнате на полу валялся матрас, возле которого чернела перегоревшими углями бочка-буржуйка.

«Скромно жил японец!» – подумал Добрынин.

Заглянул в комод и тут же обрадовался, заметив разные мешочки с провизией.

– Эй, Дмитрий, глянь сюда! – крикнул он погромче, чтобы урку-емец в соседней комнате мог его услышать.

Урку-емец, зайдя в комнату и оценив содержимое комодика, улыбнулся многозначительно.

– Как ты думаешь, если это вот старухе подарить, она обрадуется? – спросил Добрынин.

– Как не обрадоваться! – урку-емец кивнул. – Каждый человек обрадуется!

– Я о каждом не говорю, – перебил его народный контролер. – Я о той старухе, у которой собак возьмем.

– Обрадуется, обрадуется, – Ваплахов снова закивал.

– Ну так давай, выбери, что нам с собой взять, а остальное ей отдадим! – приказал Добрынин и ушел в большую комнату.

В большой комнате народный контролер уселся на свою кровать, посмотрел на морозные оконные узоры. Задумался.

Путаные мысли перебивали друг друга в его голове и вообще вели себя, как дети, так что захотел было даже Добрынин прикрикнуть на них, чтоб умолкли. Вот опять предстояла ему дорога и опять неизвестно куда. Что оставит он здесь позади себя? Что толку от того, что проверил он количество заготовленной пушнины, если пушнина эта поехала в чужую страну? Почему о том, что здесь происходит, должен знать товарищ Волчанов и какие-то неизвестные члены Политбюро, но это же самое неизвестно товарищу Тверину? Почему тот же Волчанов, приехав проводить его на аэродром, ничего не сказал ему о японских революционерах? Вопросы сыпались на Добрынина, и, казалось, мысли его больше не подчиняются голове и не пытаются помочь народному контролеру разобраться с происходящим. А тут еще некстати вспомнилось ему прошлое пребывание в Хулайбе, вспомнился коммунист-оборотень Кривицкий, которого судили национальным якутским судом. За что судили? За исчезновение урку-емцев, за то, что по ночам японцам отдавал заготовленную пушнину... Уж не этим ли самым японцам отдавал он соболей? Неужели зря его принесли в жертву? Но как же быть с двумя погибшими контролерами, навечно оставшимися в полупрозрачном льду? «Нет, – думал Добрынин, – не был он невиновным...» Но тут же какая-то другая мысль перебивала предыдущую и твердила шепотом: «Был, был... а контролеры сами случайно погибли!»

Мотнул народный контролер головой, разгоняя утомительные мысли. Поднялся с кровати, взял вещмешок и вышел.

Заглянул в комнатку «Петрова».

– Ну че ты копаешься? – спросил уставшим голосом у помощника Ваплахова.

Урку-емец оглянулся. Вид у него был растерянным.

– Все хорошее, лучше с собой бы взять! – сказал он.

– Не будь кулаком! – неодобрительно покачал головой Добрынин. – Все люди братья, надо делиться!

А сам внутренне согласился с урку-емцем. Но обида за русскую нацию была сильнее, и он твердо решил подарить этой старухе как можно больше, и чтобы знала она, что это ей русский человек подарил.

– Пополам все подели! – приказал он урку-емцу.

Ваплахов тяжело вздохнул.

Через несколько минут две одинаково тяжелые тряпичные военные сумки с провизией были готовы и завязаны.

– Ну что, пошли? – спросил Добрынин.

Забросил одну сумку Добрынин себе на плечо вместе с вещмешком.

Вторую взял урку-емец.

Вышли на мороз.

– А там... одна бутылка спирта оставалась?! – взволнованно сказал вдруг Ваплахов.

– Взял я, взял! – успокоил его народный контролер.

Свежий снег скрипел под ногами. Был он неглубоким и очень мягким, так что ноги плавно тонули в нем, пока не натыкались на плотную корку старого снега.

– Далеко к ней? – спросил шедший позади урку-емца Добрынин.

– Нет, – ответил тот, не оборачиваясь. – Ее чум чуть за городом.

Шли, должно быть, час. Сперва увидели поднявшихся и замахающих хвостами пушистых собак, потом разглядели и чум, сшитый из оленьих шкур и оттого издали не видимый и сливающийся со снегом.

– Чудные собаки! – сказал сам себе Добрынин. – Не лают!

– А чего им лаять? Пасть откроет – холодно во рту станет! – объяснил Ваплахов.

– А мой Митька в любую погоду лаил, – припомнил вслух Добрынин. – Как только чужой где покажется – сразу лает так, что все соседи просыпаются... А эти ваши собаки воют? – спросил вдруг народный контролер.

– Бывает, – ответил Дмитрий. – Но редко очень. Чего им выть-то? Тут жизнь хорошая, кормят их хорошо, рыбой сушеной, мясом...

Добрынин уже не слушал помощника. Он шел позади – след в след – шел и грустил. Так хотелось сейчас нормальный собачий лай услышать – чтоб хоть секунду почувствовать себя дома, в деревне, чтобы отвлечься от этого дикого края, где происходят странные, непонятные вещи, а ему приходится в них разбираться.

Из чума вышла старушка. В шубе колоколом, расшитой какими-то украшениями. Вышла, остановилась и трубку закурила, поджидая, пока приблизятся к ней мужчины.

Оставалось, может, шагов десять до чума, когда Ваплахов остановился, поклонился слегка и что-то сказал ей на нерусском языке. Она ему ответила и вернулась в чум.

Внутри было сумрачно, и только маленький костер на буром полу своим пламенем освещал скудную обстановку северного жилища.

– Тут вот подарок, – заговорил Добрынин, снимая с плеча тяжелую военную сумку. – От русского народа!

Старушка смотрела на народного контролера не мигая и не меняя серьезное застывшее выражение лица.

– Она по-русски понимает? – спросил Добрынин, повернувшись к помощнику.

– Говорит, что нет, но, может, и понимает! Они – народ умный!

– Ну так дай ей это и объясни, что я сказал! – повторил Добрынин, протягивая сумку урку-емцу.

Ваплахов взял сумку, опустил ее на пол чума около костра и что-то сказал старухе на ее языке. Она едва заметно улыбнулась, потом что-то спросила.

– Она спрашивает: это не от Петрова подарок? – перевел урку-емец.

Добрынин внутренне чертыхнулся.

– Скажи ей, что это от русского народа!

Урку-емец кивнул и перевел ей слова народного контролера.

Старуха вдруг огорчилась и посмотрела на народного контролера с очевидной жалостью во взгляде.

– Чего это она? – озадачился Добрынин.

Запричитала она что-то, потом перебил ее Ваплахов и, проговорив длинное-длинное предложение, перевел дух и, обернувшись к начальнику, сказал:

– Она подумала, что ты последний русский, раз ты от народа ей это даришь!

– Тьфу ты! – усмехнулся Добрынин. – Придумала же! Ну ладно, бери у нее собак и спроси, как в ближайший город добраться.

Разговаривал урку-емец с хозяйкой чума долго. Добрынину даже надоело ждать. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу. И вдруг пришла к нему мысль интересная и не такая занудливая, как предыдущие. А что, подумал он, если показать ей эти знаки на шкурках? Может, она поймет, о чем там написано.

Дождавшись конца разговора, он вытащил из вещмешка шкурки, передал их урку-емцу и объяснил свою мысль.

Урку-емец показал шкурки старухе. Она уселась с ними у костра. Пристально стала рассматривать знаки.

В возникшей тишине лишь шипение пламени звучало, подтверждая продолжающуюся жизнь.

Старуха беззвучно шевелила губами, и Добрынину показалось, что она молча читает эти старинные письмена. Хотелось сразу же спросить ее, но народный контролер решил подождать.

Наконец она оторвала взгляд от замысловатых черных знаков на пожелтевшей коже. Посмотрела на костер, потом встала.

– Ну? Что там? – спросил Добрынин, забыв, что старуха не говорит по-русски.

Тут же урку-емец проговорил что-то, видимо, переводя вопрос начальника.

Старуха, вздохнув тяжело, произнесла несколько фраз, делая между ними задумчивые паузы.

Добрынин теперь уперся взглядом в своего помощника, ожидая от него перевода.

– Это трудно сказать по-русски... – смущенно заговорил Ваплахов. – Там как бы письменная карта к какому-то месту...

– К какому месту? – оживленно спросил народный контролер.

– Она сказала, что понимает, к какому месту, но не скажет.

Обидно стало Добрынину после этих слов. Он ей от имени русского народа подарок сделал, а она не хочет им рассказать, что на старинных кожаных листках написано. Такая вот благодарность! И захотел Добрынин отобрать назад у нее подарок русского народа, раз нет у нее никакого уважения к ним. Захотел, но тут же подумал, что некрасиво это, так как после такого дела она еще больше гадостей про русских будет говорить. Быстро перегорела обида.

«Сказки все это! – подумал народный контролер. – Черт с ней!»

Взяв молча из ее рук рукописные шкурки, перевязал Добрынин их снова кожаным шнурком, положил в свой вещмешок и, оглянувшись на помощника, сказал:

– Бери у нее собак и поехали! Нечего нам тут больше делать!

Минут пять спустя вышли они втроем на мороз.

Старуха, остановившись, раскурила свою потухшую было трубку, потом спокойно объяснила что-то Ваплахову и указала рукой куда-то вдаль.

Потом помогла вытащить из-под свежего снега длинные деревянные сани.

Народный контролер пересчитал собак в упряжке. Было их семь.

Оглянулся на Ваплахова – тот стоял один. Старуха куда-то исчезла.

– Где она? – спросил Добрынин.

– Хочет подарок сделать, – кратко ответил урку-емец.

– Русскому народу? – поинтересовался народный контролер.

– Нет, нам, – ответил Ваплахов. – Говорит – дорога может быть трудной!

Добрынин хотел еще что-то спросить, но тут увидел старуху. Она вышла из чума – в руках у нее был большущий сверток, перетянутый кожаной полоской.

– Что это? – спросил народный контролер урку-емца.

– Оленьи шкуры, чтобы теплее было ехать! – объяснил Дмитрий.

– А-а, хорошо, – Добрынин кивнул. – Скажи ей спасибо!

Попрощавшись со старухой и устроившись поудобнее на санях, Добрынин и Ваплахов тронулись в путь.

Сани скользили легко и плавно. Собачки дружно бежали в упряжке, и казалось, что совсем нетрудно им тянуть в общем-то нелегкую поклажу.

– Они дорогу знают! – довольно произнес Ваплахов, то ли похваливая пушистых лаек, то ли просто сообщая об этом своему начальнику.

Солнце над ними было тускло-белое и большое. Оно не грело и не светило.

– Сколько нам ехать? – спросил народный контролер.

– Дня два будет, если пурга не заметет, – рассудительно ответил урку-емец. – Старуха говорила, что совсем недавно пурга была, так что, может, проскочим.

Лес вокруг отступал, и на смену ему приходило какое-то странное редколесье. Одинокие деревья вдруг возникали посреди снежного поля, и были эти деревья сильные и высокие, с крепкими толстыми ветвями. На ветвях лежал снег.

Добрынин смотрел по сторонам в поисках разнообразия, но все вокруг было одинаково и знакомо.

Через некоторое время народный контролер почувствовал пронизывающий все тело холод. Он пожаловался урку-емцу.

Дмитрий остановил собак, дернув поводья и крикнув что-то непонятное. Потом развязал подаренные старухой оленьи шкуры и помог Добрынину закутаться в них так, что незащищенными оставались только глаза и часть лба.

Мороз сразу отступил.

Снова побежали резвые собачки.

День был длинным и, как казалось Добрынину, бесконечным.

Вдруг урку-емец снова прикрикнул на собачек, и они повернули вправо.

Добрынин занервничал, посмотрел по сторонам, но ничего особенного не увидел.

– Мы куда? – спросил он урку-емца.

– Счас, на минутку! – проговорил, полуобернувшись, Ваплахов. – Там Эква-Пырьсь, поклониться надо!

Присмотревшись вперед по ходу саней, народный контролер увидел небольшой холм, а на нем один столбик с набалдашником.

Подъехали. Урку-емец встал с саней, подошел к столбику, поклонился и запричитал что-то на своем языке.

Добрынину не хотелось разматываться, сбрасывать с себя эти теплые оленьи шкуры. Он только присмотрелся к столбику, узнал сверху голову вождя и окончательно успокоился.

– Че ты ему говоришь-то? – спросил.

– Спасибо за то, что народ мой жив! – объяснил уже закончивший кланяться урку-емец.

– А дорогу дальше ты найдешь?

– Собаки знают! – ответил Ваплахов. – Мы только чуть-чуть в сторону отъехали.

Сани скользили легко и плавно. Только полозья выдавливали иногда из снега какой-то свистящий звук, негромкий и нерезкий.

– А ты знаешь, что Эква-Пырьсь очень животных любил? – спросил вдруг Добрынин.

– Эква-Пырьсь всех любит! – охотно поддержал беседу Дмитрий. – Медведей любит, людей любит, моржей и рыбу любит...

– И кошек любит! – добавил Добрынин.

– А кошки – это кто?

– Звери такие домашние...

– Молоко дают? – поинтересовался урку-емец.

– Нет.

– Пушнину?

– Ну, в общем, они... да... пушистые такие...

Ваплахов, не оборачиваясь, кивнул.

– А знаешь, как по-русски Эква-Пырьсь будет? – спросил оживившийся народный контролер.

– Как?

– Ленин! – ответил Добрынин.

– Так коротко?

– Да-а. – Добрынин кивнул. – Большой человек был! И скромный, не жадный совсем...

– Откуда так много про Эква-Пырься знаешь? – удивился урку-емец.

– У меня две книги о нем есть.

– Дашь почитать? – спросил Ваплахов.

– Дам, – ответил Добрынин.

Сани скользили легко и плавно. Все реже встречались на пути одинокие деревья. Чаще по обе стороны белела снежная пустыня, бесконечная и безжизненная.

Однако народный контролер чувствовал себя хорошо. Оленьи шкуры не пропускали холод, и только брови и глаза ощущали его колючее присутствие.

– А еще Ленин, Эква-Пырьсь по-вашему, подарки получать не любил, – припомнил вслух Добрынин.

Ему хотелось говорить. Дорога впереди была длинная. А скрип полозьев уже порядком надоел народному контролеру.

Урку-емец с интересом выслушал рассказ Добрынина о том, что Эква-Пырьсь не любил получать подарки.

А день все продолжался, и белое солнце, казалось, висело неподвижно на своем месте, словно вмерзло оно в небо, как те два народных контролера – в лед.

Добрынину уже хотелось чего-нибудь съесть, однако тут же он представил, что для этого придется размотаться, вытащить из-под оленьих шкур руки. Вздохнув, он решил подождать еще немного.

Еще одно сильное одинокое дерево пронеслось мимо саней и осталось позади, посреди снежной пустыни.

Урку-емец запел негромко свою национальную песню.

Песня Добрынину не понравилась, была она какой-то заунывной, да и непонятной совсем.

Хотел было он запеть русскую песню, про замерзающего ямщика, но передумал, так как для этого надо было открывать рот, а значит можно было простудиться.

Так и мчались сани под монотонное пение урку-емца Ваплахова.

И вдруг он замолчал.

Как-то уже привыкший к этой бесконечной урку-емецкой песне, Добрынин удивился и заерзал на санях, пытаясь привлечь внимание помощника.

Ваплахов, однако, сам обернулся, и лицо его выразило озадаченность.

– Там русский танк! – сказал он, показывая рукой вперед.

Собаки бежали по-прежнему дружно.

Сначала Добрынин увидел впереди и чуть справа большое одинокое дерево, а потом, через минуту, наверное, – зеленый русский танк с родной красной звездой на броне кабины.

– Заблудился, наверно! – предположил урку-емец.

Он заставил собак повернуть прямо к танку.

Когда сани остановились рядом с боевой машиной, стало чрезвычайно тихо.

Собаки улеглись в снег, и только одна из них, белая лайка, повернула свою морду и, высунув красный язык на морозный воздух, смотрела напряженно на двух людей. Дмитрий помог Добрынину вылезти из оленьих шкур, потом положил их одна на другую мехом вниз и, скатав в рулон, перевязал кожаной полоской.

Народный контролер сразу почувствовал себя незащищенным перед северным диким климатом. Рыжий кожух – подарок полковника Иващукина – грел, конечно, но ногам, обутом в валенки, было холодно.

Дмитрий Ваплахов постучал по кабине – металл гулко прошумел и затих. Никто не ответил на стук.

– Полезь, в люк загляни! – приказал помощнику Добрынин.

Урку-емец вскарабкался на кабину, потянул на себя едва приоткрытый люк и заглянул вниз.

– Плохо! – сказал он, скривив губы.

– Что там? – спросил народный контролер, предчувствуя что-то недоброе.

– Замерзли совсем, – упавшим голосом ответил Ваплахов.

Добрынин тоже залез на броню, заглянул в люк, и комок стал в горле – внизу, внутри танка он увидел трех военных: один лежал на спине, неуклюже подогнув ноги под себя, раскрытые глаза были мутными, как речной лед; двое других сидели скрючившись, уронив головы к коленям. От этих трех неподвижных фигур повеяло холодом смерти.

Замер Добрынин, глядя вниз. Рядом на корточках сидел Ваплахов. Сидел и тоже молчал.

Тишина сгущалась вокруг них, становилась все глубже и глубже, отвердевала, обволакивала их слух белой стеною, и становилось Добрынину страшно.

Пять человек в этой бесконечной белой пустыне – трое мертвых и двое живых. А вокруг тишина, одно дерево, сильное, ветвистое, но как бы тоже мертвое, заснувшее на время холода; собаки, но что с них возьмешь – выпусти их сейчас – разбегутся и погибнут поодиночке, если, конечно, не доберутся назад к старухе. Солнце, неподвижное, ледяное. Присутствие жизни среди этих снегов казалось чем-то чужим, случайным, каким-то временным недоразумением.

И Добрынин это чувствовал. Именно чувствовал, а не думал об этом: мысли его, тоже испугавшись, замерли, и такая же зловещая тишина заняла их место в голове. По спине пробежали мурашки.

– Похоронить надо... – проговорил он негромко. – По-человечески... Здесь где-нибудь военный склад есть?

Урку-емец отрицательно мотнул головой.

– Как же тогда? – скорее сам себя, чем помощника, спросил Добрынин.

– Дерево там, – тоже негромко ответил Ваплахов и сам обернулся, чтобы посмотреть на это одинокое дерево.

Народный контролер тоже бросил на него взгляд.

– Под деревом?! – спросил он, выказывая недоумение.

– Нет, – проговорил Дмитрий. – По-человечески надо... как мы делаем... замотать в оленью шкуру и повесить за ноги на сильных ветках.

Добрынин посмотрел на урку-емца странным горьким взглядом.

– Это по-человечески? – с сомнением спросил он.

– Если оставить на земле – звери или Ояси съест, а так никто не тронет, – объяснил Ваплахов. – У нас так всегда делали...

Добрынин помолчал, думая и внутренне рассуждая. В конце концов согласился он с урку-емцем, посчитав, что как ни крути, а иначе похоронить их не получится.

Оба спустились в кабину.

Надо было как-то вытащить погибших наружу, но сделать это оказалось непросто. Взявшись вдвоем, Добрынин и Ваплахов подняли лежавшего на полу кабины военного – мертвая тяжесть его тела заставила народного контролера напрячь все мускулы. Однако усилие было тщетным. Вытолкнуть его как бревно через люк наружу Добрынин и Ваплахов не смогли из-за подогнутых ног погибшего. Люк оказался узковатым.

Снова опустили его на пол. Добрынин, поворачиваясь, задел сидевшего мертвого солдата, и тот тоже повалился боком на железный пол, гулко зазвеневший от удара.

Не по себе стало народному контролеру. Руки задрожали, бешено застучало сердце. И опять повеяло холодом смерти, таким обычным в этих местах холодом, холодом, окаменившим трех военных, сделавшим их более мертвыми, чем мертвые могут быть.

– Ноги выпрямить надо! – негромко сказал урку-емец, наклонившись над трупом.

Они приподняли замерзшее тело и снова опустили его на пол лицом вниз.

Дальше говорили глазами – произносить слова не хотелось.

Урку-емец опустился на корточки, потом коленями придавил спину погибшего, а Добрынин, тяжело вздохнув, взялся руками за сапоги лежавшего и потянул их на себя. Одна нога, неестественно скрипнув, подалась и почти полностью разогнулась. Взявшись обеими руками за вторую, народный контролер рванул ее на себя что было силы. Страшный звук, словно ветка дерева переломилась, прозвучал в кабине, и народный контролер скривился, отшатываясь от лежащего тела.

Теперь труп лежал ровно.

Передохнув минутку, снова подняли его Добрынин и Ваплахов и вытолкнули наружу. Потом вылезли, перенесли на снег и вернулись в кабину.

С двумя солдатами, оставшимися в танке, им пришлось помучиться больше часа.

В конце концов, выпрямив скованные морозом тела, вытащили они солдат из танка и положили рядом с санями, рядом с их товарищем.

А солнце неподвижно, замутненным молочно-белым взглядом безучастно смотрело вниз.

Собаки спокойно лежали в снегу, словно мороз их не касался.

Урку-емец размотал оленьи шкуры, вытащил три штуки и расстелил их в ряд. После этого вдвоем они положили каждого погибшего на отдельную шкуру. Урку-емец достал нож и, взяв с саней еще одну шкуру, нарезал из нее полосок.

Потом он сам, без помощи Добрынина, четкими движениями, словно уже не раз это делал, плотно замотал погибших в оленьи шкуры, затянув каждого кожаными полосками в плечах и в щиколотках. Потом выбрал еще три полоски покрепче и привязал их в несколько узлов к закрученным в оленьи шкуры ногам погибших.

После этого посмотрел на Добрынина. Тот все понял.

Перенесли они всех троих под одинокое дерево. Урку-емец забрался на нижнюю толстую ветку, подняли первого и положили его поперек, после чего и народный контролер вскарабкался на ту же ветку. Потом Добрынин, с трудом держа равновесие, стоял на нижней ветке, обнимая и удерживая за плечи перевернутое кверху ногами и закрученное в оленью шкуру тело одного из солдат. Урку-емец, забравшийся выше, завязывал свободный конец кожаной полоской вокруг сильной, толщиной в две человеческие руки, ветки.

– Все! – наконец выдохнул Ваплахов, и Добрынин опустил тело.

Большой «сверток», кожей наружу и мехом внутрь; этот мягкий, может быть, даже уютный «гроб», закачался немного.

Народный контролер глянул вниз, посмотрел на лежащие на земле два других «свертка». Он даже не знал, кто из военных где. Хотя и так он не знал их, он не встречал их раньше. Мог только сказать, что первый вытасченный из танка военный был постарше, а два других – совсем мальчишки, один русский и, наверно, русский, а второй, чернявый, был, должно быть, откуда-то с Кавказа. Он даже не посмотрел – были ли у них документы! Они так и останутся безымянными...

Урку-емец уже спрыгнул вниз и ждал народного контролера, чтобы повторить еще два раза то, что они уже сделали.

Оставшиеся два «свертка» повесили на другой стороне дерева, на разных ветвях.

Последний раз спустившись вниз, остановились.

Добрынин осторожно и как-то боязно дотронулся взглядом до каждого «похороненного». Хотелось что-то сказать на прощанье, однако картина была странной, если не сказать – нелепой и, прошептав: «Пусть земля будет вам пухом...», народный контролер отвернулся, сдерживая в глазах слезы, и медленно, слушая скрип снега под своими ногами, пошел к саням.

«Какая земля! – думал он, вспоминая только что произнесенные шепотом слова прощания. – Какой пух... снег тут только...»

И вдруг он услышал монотонное пение. Обернулся.

Дмитрий Ваплахов, стоя перед деревом-кладбищем, пел какую-то грустную урку-емецкую песню. Пел негромко, с надрывом. И припомнил народный контролер, как совсем давно, когда ему было, может быть, лет пять, умер его прадед, и тогда дед и бабушка позвали из соседнего села воплениц и плакальщиц, и старухи эти целый день завывали у гроба пожелтевшего бородатого прадеда, а он, совсем мальчишка тогда, прислушивался к ним из другой комнаты, но никак не мог разобрать слов.

Остановился Добрынин и прислушался к песне уркуемца. Чужой язык был ему непонятен, но слова и звуки он разбирал легко и чувствовал в них скорбь и грусть, и большое горе.

– Энд вар пын, – пел-причитал Ваплахов, —

Сарын кун девит,
Борайсат ундур бан тевим,
Парсан тын урул ган нивот,
Паран дун сыктын бан тевим.
Эква-Пырь ыrvat кан нарын,
Пар сайрат эндо харан тэн
Вар тэбун ниран бат ыран
Борайсат ундур бан тевим...

Глава 4

Приблизилась весна, и тепло первым делом растопило снег на холме в Новых Палестинах, оставив его, однако, на полях вокруг, из-за чего сам холм стал похож на горб природы.

Прошедшая зима не отличалась суровостью. Хватило новопалестинянам и съестных припасов, и запасенных дров. Да и оставалось всего этого еще вдоволь, хотя до нового урожая надо было еще дожить.

С первыми солнечными лучами во дворе главного коровника стал появляться горбун-счетовод. Он выходил вместе с табуреткой и толстенной тетрадью, которая была, пожалуй, единственным, но полным сборником записей, касающихся жизни Новых Палестин. Там же отвел он специальную страницу для записи новорожденных и первым же делом записал своего сына, которого назвал Василием. Василию вот-вот должно было исполниться полгода. Он уже окреп, набрал вес и очень часто улыбался, щуря маленькие хитрые глазки. Был он, как и папа, горбунком, но горбик его пока едва различался на тоненькой спинке. Однако дело это ни маму, ни самого счетовода не огорчало, а счетоводу это, казалось, даже дало больше уверенности в правоте собственных мыслей, которыми он иногда по вечерам, сидя за столом у натопленной печки, делился с товарищами. Любил он говорить, что у глухих рождаются глухие, у слепых – слепые, а у горбатых – горбатые, а иначе, мол, и не было бы среди людей таких вот физических различий. До рождения Василия с ним всегда спорили, не соглашаясь и требуя доказательств, а уже после рождения слушали его молча и ни в чем не переча.

После Василия родилось еще двое детей: мальчик и девочка. Они тоже были аккуратно записаны следом за Василием. Ну а теперь, когда дело шло к весне, беременными уже ходило баб пятнадцать, а то и больше.

Но не это занимало голову счетовода, сидевшего на табурете под первыми солнечными лучами. Думал он о грядущем посеве, о новых постройках сараев и о других планах, придумав и выполнив которые, он облегчил бы и улучшил жизнь в Новых Палестинах.

Архипка-Степан хоть и продолжал пользоваться почетом и уважением земляков, однако участия серьезного в жизни коммуны не принимал, оставаясь больше свадебным генералом или же просто фигурой исторической, виновником, так сказать, прихода всех на этот холм. Жить-то он жил, как все, только работал поменьше, потому как никто его не упрекал, да и не просил делать что-либо определенное, так что трудился он больше из потребности к действию, чем из потребности к результатам оного. Был он в душе весьма благодарен счетоводу, добровольно и с охотой принявшего на себя всю ношу ответственности за настоящее и будущее их новопалестинского народа.

Приблизилась весна, и, греясь в первых солнечных лучах, вспоминал ангел, выйдя из коровника, свою прошлую райскую жизнь. Вспоминал и сравнивал ее с жизнью нынешней, с жизнью среди людей. И находил он в этих двух сравниваемых жизнях много общего, только не внешне общего, а внутренне. И все же жизнь в Новых Палестинах казалась ему более полной что ли, ведь была это именно жизнь, состоящая из действий, мыслей и чувств, а не тихое райское блаженство, которым упивались его прежние братья и сестры. И сама природа была здесь разнообразно красивой и как бы первозданной, ведь не бродили рядом косули или олени, которых можно было погладить в любой момент, не садились на плечи сладкоголосые птицы. Все было проще и грубее, и ежедневное карканье кружащегося над Новыми Палестинами воронья казалось такой же полноценной музыкой, как редкое весеннее пенье жаворонков. Ну а разнообразие человеческих характеров, окружавших ангела? Разве мог он когда-нибудь раньше подумать, что именно эта невидимая паутина разноярких лучей, рождающихся в душах новопалестинян, сможет «оплести» его, вовлечь в несложные, но и непростые взаимоотношения с людьми. Да и сами люди, впрочем, во многом оставались загадкой для него, и особенно удив-

ляло то, что знали они давно о живущем среди них ангеле, знали они и о том, что попал он к ним из самого Рая, однако никакого интереса у них это не вызывало, и только изредка кто-нибудь из новопалестинян, чаще женщин или же подвыпивших мужиков, подходил к нему с вопросом или двумя. Но и вопросы эти были однообразны. Чаще всего спрашивали: «А Бог есть?» и, получив утвердительный ответ, иногда ставили ангела в тупик просьбой рассказать, каков он, Бог, из себя, носит ли он бороду, какого цвета глаза и прочие приметы. Не видевший никогда Бога ангел всякий раз пытался объяснить новопалестинянам различие меж Богом и человеком, но задававшие вопрос расходились неудовлетворенными, не дослушав ангела до конца. Может, они, как и красноармейцы, просто считали ангела чокнутым, но и здесь существовала загадка для самого ангела. Не мог он понять, почему эти люди считают чокнутых и сумасшедших ближе к Богу, чем обычных здоровых людей. Вот и последний раз, когда подходил к нему выпивший бригадир строителей в своем грязном с прошлой осени ватнике, подходил и расспрашивал о конструкции домов, в которых ангелы живут, и, получив ответ об отсутствии всякого строительства в Раю, ругнулся негромко, обозвал ангела «придурком», а потом, подняв глаза кверху, попросил у Бога прощения и, похлопав ангела по плечу, ушел, пошатываясь, к себе в коровник.

Вспоминая о прошедшей зиме, не мог ангел не думать и о Кате. Не только потому, что питал к ней самые теплые чувства. Зима в Новых Палестинах, как и в любом другом селе, была временем покоя и отдыха, и всякая деятельность там в это холодное время, за редким исключением, застывала до весны. И вот тут, в Новых Палестинах, этим редким исключением были два человека – Захар-печник, непрерывно коптивший приносимое и привозимое ему со всей округи мясо, и учительница Катя, тормошившая крестьян, не дававшая им бездельничать и пьянствовать. Чуть ли не силком приводила она в свой «класс» в иной день до тридцати взрослых, не считая восьмерых детей, и занималась там с ними не только грамотой написания букв и слов, но и общими полезными идеями. Приходил туда иногда и ангел, приходил добровольно и садился на последней лавке от доски, чтобы удобнее было ему наблюдать за этой светловолосой девушкой. Уроки у нее проходили живо, но очень часто ангел пребывал в смущении из-за того, что многие написанные под ее диктовку на доске предложения и фразы имели неприятный и неправильный смысл. Сильное душевное переживание испытывал ангел всякий раз, когда какая-нибудь крестьянка или красноармеец выводили на доске круглыми неуверенными буквами: «крестьяне жгут дом помещика», «бога нет». Из-за последней фразы дело дошло даже до ссоры между ангелом и Катей, и вовсе не потому, что ангел воспротивился смыслу этой фразы. Был он уже достаточно научен разными спорами и понимал, что простыми словами Катю не переубедишь. Просто в тот раз, когда вся доска была исписана похожими фразами, Катя попросила отыскать и указать другим сделанные при написании ошибки. Тут-то ангел и поднял руку, как простой ученик. И, видимо, совсем другого ожидала внезапно обрадовавшаяся ненадолго учительница, попросив его встать и указать, какую ошибку он заметил. Ангел, ясное дело, встал и сказал всем, что во фразе «бога нет» слово Бог должно писаться с большой заглавной буквы. После этого в «классе» наступило длительное молчание и больше никто руки не поднимал. Катя, придя в себя, разгорячилась и чуть не перешла на крик, убеждая всех своих молчавших учеников, что с большой буквы пишутся только названия городов и сел, а кроме этого имени и фамилии людей, особенно вождей революции и героев. Про бога же, сказала она, и говорить глупо, так как его просто нет, что очевидно из той самой фразы, с которой весь спор и начался. А потому и нет смысла писать это слово с большой буквы. Собственно, был это не спор, а так – просто неприятный момент и для ангела, и для Кати. И прошло, должно быть, не меньше месяца, прежде чем отношения между ними снова как бы улучшились.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.